



Дина Ильинична Рубина

Гладь озера в пасмурной мгле (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164171
Гладь озера в пасмурной мгле: Эксмо; Москва; 2008

Аннотация

Истории скитаний, истории повседневности, просто истории. Взгляд по касательной или пристальный и долгий, но всегда – пронизательный и точный. Простые и поразительные человеческие сюжеты, которые мы порой ухитряемся привычно не замечать. В прозе Дины Рубиной всякая жизнь полна красок, музыки и отчетливой пульсации подлинности, всякое воспоминание оживает и дышит, всякая история остается с читателем навсегда.

Содержание

На солнечной стороне улицы	5
Часть первая	5
1	5
2	11
3	16
4	19
5	21
6	24
7	30
8	33
9	46
10	50
11	56
12	70
13	77
14	80
15	82
16	86
17	91
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Дина Ильинична Рубина Гладь озера в пасмурной мгле

Дорогой читатель Андрей!
Желаю от всей души —
радости, удачи, любви!



На солнечной стороне улицы

Часть первая

...для любого сколько-нибудь тревожного человека родной город... – нечто очень неродное, место воспоминаний, печали, мелочности, стыда, соблазна, напрасной растраты сил.

Франц Кафка. Письма к фройляйн Минце Э

Я позабыла тот город, он заштрихован моей угрюмой памятью, как пейзаж – дождевыми каплями на стекле.

Не помню названия улиц. Впрочем, их все равно переименовали. И не люблю, никогда не любила глинобитных этих заборов, саманных переулков Старого города, ханского великолепия новых мраморных дворцов, имперского размаха проспектов. Моя юность проплутала этими переулками, просвистела этими проспектами и – сгинула.

Иногда во сне, оказавшись на смутно знакомом перекрестке и тоскливо догадываясь о местонахождении, я тщетно пытаюсь припомнить дорогу к рынку, где ждет меня спасение от позора.

Я не помню лиц соучеников, и когда на моем выступлении в Сан-Франциско или Ганновере ко мне подходит некто незнакомый и, улыбаясь слишком ровной, слишком белозубой улыбкой, говорит: «Вспомни-ка школу Успенского», – я не помню, не помню, не помню!

...Тогда почему все чаще, возвращаясь из Хайфы или Ашкелона домой, поднимаясь в свой иерусалимский автобус и рассеянно вручая водителю мятую двадчатку, я глухо говорю: – ...В Ташкент?...

1

Из долгой, с ветерком, гастролы мать нагрязнула неожиданно и, вызвав у соседней про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны – убивать так убивать! – и села в тюрьму на пять лет...

Вера в тот день как раз читала «Царя Эдипа». Распластанная книжка так и осталась валяться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силась подняться с карачек... Так что все оказалось по теме. Хотя убийства настоящего и не вышло. Дядя Миша, отчим, долго валялся по больницам, но окончательно не выправился, – подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой. Кашлял в кулак...

«Догнива-а-ает», – говорила мать, убийца окающая.

Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать.

Вот вам конспект событий...

Если же рассказывать толково и подробно... то эту жизнь надо со всех сторон копать: и с начала, и с конца, и посерединке. А если копать с усердием, такое выкопает, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям – чем повернута? Конспектом. Оглавлением... В иную заглянешь и отшатнешь испуганно: кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни

* * *

Вернулась она тихо: позвонила в дверь двумя неуверенными звонками и, когда Вера открыла, прослезилась и обмахнула щеки дочери такими же неуверенными поцелуями. И то и другое было ей несвойственно.

«Присмирела, что ли, на казенной баланде?» – подумала Вера.

Мать прошла отчего-то не в комнату, а в кухню; Сократус – холеный барин, эстет, платиновые бакенбарды – следовал за ней тревожной трусцой, морщась от ужасного запаха тюремной юдоли.

Мать опустилась на табурет, медленно стянула с головы косынку (поседела, фурия, – отметила Вера) и мягко, со слезою в голосе, вздохнула:

– Ну вот, вернулась к тебе твоя мамочка...

Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее после этого красивого обнажения поседевшей головы, она поняла, что играется сцена «Возвращение мамочки», и мысленно усмехнулась.

Мать, между тем, оглядела кухню уже другим, своим прихватывающим взглядом, поддала носком стоптанной босоножки обломок угольного карандаша на полу:

– Все малюешь... Я в твои годы горбила вовсю.

– А, здравствуй, мама! – словно узнав ее наконец, воскликнула дочь. И согнала с губ улыбку. – В мои годы ты вовсю спекулировала.

Та подняла на нее светлые рысьи глаза: видали верзилу? – стоит, жердь тощая, старая майка краской заляпана, взгляд угрюмый, насмешливый... Выросла. Самостоятельная!

Они глядели друг на друга и понимали, что жить им теперь, обеим, бешеным, в этой вот квартире. Нос к носу...

* * *

Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслону, хотя я и автор, вернее – одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтах, во втором ряду. Вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов? Если нет, я напомню:

Выстроились на сцене двумя длинными рядами. Одежда парадная: белый верх – черный низ, зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющим утюгом...

Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды, из-за подломившейся ножки скамьи, все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены.

Подравняться!!! Носки туфель чуть расставлены... Смотреть на палочку!!! Набрали в грудь побольше потной духоты зала, и!..

Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет. За роялем Клара Нухимовна: белое жабо крахмальной блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее... В черном зеркале поднятой крышки рояля подбитой голубкой трепещет отражение ее комканного кружевного платка.

И вот – бурный апрельский разлив вступления!

Взмах из затакта: повели медленно и раздумчиво...

Ветви оделись листвою весенней...
И птицы запели и травы взошли,
Весною весь мир отмечает рождение...

звук нарастает, жилы на шее хоровички натягиваются...

Великого сы-ы-на... Вели-кой земли-и-и-и...

И поехали с орехами:

Лееееееенин...

Это мы, альты и вторые сопрано, еще затаенно; и вдруг – восторженный вскрик первых сопрано:

– Ленин!!! Это весны...

Первые сопрано, заполошно перебывая:

– Это весны цветенье!!! Ле-ееееенин... Ленин!!!

Дружное ликование в терцию:

– Это побеееды клиииич!

– Славь-ся в века-а-ах...

Совместное бурлацкое вытягивание баржи:

– Лееееееенин! Наш...

Вторые сопрано и альты, борясь за подлинную истовость:

– Наш дорогой Ильич!!!

И пошел, пошел, ребятки, финал – наш великий исход, исступление, искупление, камлание, сладострастие тотального мажора безумных весталок:

– Ле-ни-ну – слаааааааааааа-ва!!!

Пар-ти-и слаааааааааааа-ва!!!

Сла-ва в векаааааааааааа-ах!!!

...и вот теперь... подкрадываясь с пианиссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившейся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее, щеки и монументальную грудь!!!

Слааааааааааааа-а-ва!!!

Обвал дыхания в беспмятство тишины.

Яростный гром аплодисментов под управлением жюри.

* * *

С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, присматривалась. Правда, в первый же вечер в отсутствие дочери сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки с сангиной и мелом и свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала.

Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, – дочь считала ее мастерской и на этом основании превратила в свинарник, даже доски для подрамников в ней строгала, – мать отмыла, проветрила, постирала и повесила на окна старые занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле (света ей, дылде, видите ли, не хватало!), и для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижку, не засов какой-нибудь амбарный, – все-таки с дочерью жить, не с чужим человеком.

Вера, увидев это, ничего не сказала: в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Жаль было только постановку для натюрморта, мать разобрала ее. Окаменелые от давности гранаты выбросила, а медный, благородно темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник.

«Ах ты, корова старая, – подумала дочь беззлобно, – я неделю ждала, пока он пылью покроется, чтоб не слишком блестел...»

Вообще Вера была настроена миролюбиво, мрачно-миролюбиво. Вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса (натурщицы были не по ее студенческому карману) и таким же сосредоточенно-цепким взглядом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале: прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот...

В первые дни мать, все еще играя роль «вернувшейся мамочки», пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но нарвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась.

Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь. Ну, и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который и получил свое, на что напрашивался...

У Веры как раз тогда заканчивался период длительного увлечения хатха-йогой; по утрам она уже не стояла на голове и не тратила полтора часа на позы с тех пор, как умножила эти полтора часа на семь (неделя), а потом на тридцать (месяц), и прикинула – сколько времени поглотило у нее бессмертное учение.

Рассудив, что полтора месяца – довольно жирный кусок от ее, безусловно, смертной жизни, утренние занятия самосовершенствованием она прекратила, но все еще была убеждена, что, закрыв глаза и вызвав в воображении круг зеленого цвета, можно сосредоточиться и усилием воли погасить любые нежелательные эмоции – например, ярость при виде задвижки на двери, которую приколотила эта старая тюремная комедиантка.

С тех пор, как мать вернулась, зеленый круг приходилось вызывать в воображении довольно часто, и у Веры появилось опасение, что вся ее жизнь теперь может пойти сплошными зелеными кругами: мать устроилась уборщицей в очередной стройтрест и понемногу набирала обороты: купила себе венгерские кроссовки, завилась и стала красить губы.

Вера насторожилась, как насторожился бы житель горной деревушки, заметив, что над давно погасшим вулканом вновь курится дымок.

И вправду, дней через пять, вечером мать ввалилась разгоряченная, деятельная. Распахнула пошире входную дверь: за нею, тяжело топая, поднимались по лестнице двое мужчин с ящиками на плечах.

– Рахимчик, сюда... Рахимчик, легче давай... – командовала мать. – Колюнъ, ложь эту хреновину вот здесь... Осторожней, не побей!.. Та-а-ак...

Вера вышла из своей комнаты и молча смотрела на озабоченную беготню. Колюня и Рахимчик сбегали еще по два раза вниз, внесли шесть банок импортной краски...

– Рахимчик, ну что, – все там? Дай вам бог здоровья, ребятки, подмогли. Получайть! – мать, как разгулявшийся купец в кабаке, с размаху вмяла в Колину ладонь трешку.

– Ка-ать... – с жалостливым укором протянул Коля, – натаскались же...

– Ка-а-люня! – мать изумленно-ласково подняла брови. – А бог где? – и похлопала ладонью по молодой его, напористой груди. – Вот где бог-то! В нас-то он и есть...

Вера хмыкнула и даже вперед подалась, чтобы не прозевать Колюнину реакцию на божественный довод. С богом – это новенькая была хохма, может, в тюряге у кого переняла. Но Коля, несмотря на молодой возраст и, вероятно, вполне атеистический взгляд на мир, смутился и как-то потускнел. Бедняга просто не знал, что из матери невозможно вышибить лишней копейки, а то бы и вопроса такого нелепого не стал поднимать.

Когда парни ушли, Вера осмотрела ящики. В них была чешская кафельная плитка. Предположить, что мать решила ремонтировать квартиру, Вера никак не могла. Выходит, взялась за старое, коммерсантка чертова.

– По нарам соскучилась? – спросила ее Вера.

Мать оскорбилась не на слова дочери, а на тон – спокойный. Бесило ее это спокойствие.

– Заткнись, акварель чокнутая!

– Ну, сядешь...

Мать прищурилась азартно:

– Эт кто меня посадит, ты что ль?

– Я!

Вера ответила так неожиданно для себя и вдруг поняла, что может посадить. Стоило бы, во всяком случае. Чтобы не одуреть от зеленых кругов перед мысленным взором.

Мать задохнулась от ярости:

– Ты?! Ты?! Ты меня посадишь, помазилка драная?! – И присовокупила длинно. И еще присовокупила.

– Ну, эту поэзию мы слыхали, – невозмутимо ответила Вера, повернулась и пошла к себе в комнату. Но не успела закрыть за собою дверь – мать подскочила и кулаком сильно ударила дочь по спине, между лопаток.

Вера в драку не кинулась, сдержала себя, хотя волна горячей крови долго еще гулким прибоем омывала сердце. И никаких кругов в воображении она вызывать не стала.

Отчеканила только с тихим, леденящим душу бешенством:

– Еще разок лапу на меня поднимешь – горько раскаешься...

* * *

И началось... Не жизнь, а война двух миров.

Сначала явился участковый – строгий белобрысый молодой человек немногим старше Веры. Проверил документы и предложил ознакомиться с заявлением. Вера без особого интереса пробежала глазами безграмотные строчки, написанные знакомой деятельной рукой, и расстроилась: мать вышла на военную тропу. В заявлении сообщалось, что гражданка Щеглова В. из 15-й квартиры, особа без определенных занятий, тунеядка склочного характера и аморального поведения, третирует весь дом постоянными дебошами, пьянством и сквер-

нословием. Поэтому от всех жильцов большая просьба до работников милиции: будьте добреньки выселить гражданку Щеглову В. из квартиры, где она регулярно измывается над матерью с подорванным здоровьем. Подписана бумажка была: «группа соседей не откажуща подтвердить». Далее стоял энергичный и невнятный росчерк материной подписи и приписка: «и зогатила всю квартиру».

Вера аккуратно сложила листок вдвое, вернула его белобрысому участковому и сказала:

– Заходи, компотом угощу, абрикосовым.

Участковый нахмурился и вошел. Вера налила ему в большую кружку компоту и отрезала кусок пирога с яйцом и луком. Ей слишком часто приходилось сидеть на диете, особенно в те месяцы, когда почти на всю зарплату закупала в художественном салоне материал – холст, бумагу, подрамники, лак... Так что, если вдруг заводилась свободная десятка и накатывало столь редкое у нее кулинарное вдохновение, Вера уж не жалела часа полтора потоптаться у плиты, чтобы затем в дивном одиночестве провести вечер наслаждений – за книгой, смакуя по кусочкам отбивную, зажаренную с луком и картофелем, отпивая медленными глотками кофе, сваренный ею по-настоящему, как Стасик научил – с пенкой, подошедшей дважды...

– Что ж вы с соседями не ладите? – строго спросил участковый.

Вероятно, строгостью хотел уравновесить либерально-попустительское питье компота у проверяемой гражданки.

– Соседи у меня хорошие, – ответила Вера. – А бумажку моя мать писала.

Парень сильно удивился – видать, недавно приступил к обязанностям участкового, а может, просто рос в приличной семье. Даже перестал жевать. Снял фуражку, вытер платком потную красную полосу на лбу:

– Ну, дела-а-а... Чего это она?

– Такой характер лютый, – объяснила Вера... – Да ты не расстраивайся! Давай я твой портрет нарисую? Вон у тебя какое лицо... надбровные дуги какие, мощно вылепленные...

Участковый смущенно потрогал свои надбровные дуги, которые расхвалила гражданка Щеглова В., отодвинул пустую кружку и сказал:

– Да нет, в другой раз. Спасибо.

Он осмотрел квартиру, зашел в Верину комнату, внимательно оглядел расставленные вдоль стен холсты на подрамниках, большие картонные папки, коробки с пастелью и сангиной... пяточок свободного места с мольбертом у окна и топчан, занимающий чуть не треть комнаты...

– Да-а-а... Тесно тебе здесь... Помолчал и добавил:

– Говорят – искусство, искусство! Работники искусства... А я гляжу – не очень-то у тебя чистая работа...

– Ну, у тебя – тоже... – усмехнулась Вера. Уже на пороге он сказал озабоченно:

– Хорошо, что я по соседям сперва не двинулся. Может, вызвать ее в оперпункт, прижучить маленько?

– Не надо, сама справлюсь. И объяснила насмешливо:

– Это из нее талант прет, понимаешь? Она талантливая, только образования нет, и жизнь была тяжелая – война, блокада... родные поумирали все... Если б ее вовремя образовать, вышла бы птица большого полета. Может, министр финансов, может, гениальная актриса...

Вечером она сказала матери:

– Значит, вот так: судиться и сволочиться с тобой я не буду. На это нужны время и вдохновение, а мне все это пригодится для другого дела... Не хочешь жить нормально – давай размениваться.

– Еще чего! – мать возбужденно улыбалась. – Я не для того квартиру зарабатывала, чтоб по ветру ее размотать!

О том, как она зарабатывала эту квартиру, до сих пор ходили легенды в жилищном отделе горсовета. И долго еще после происшествия кто-нибудь из чиновников посреди совещания оборачивался к другому, прищипывал языком, подмигивал, говорил шепотом:

– Адыл Нигматович, я как вспомню: ка-акая же-еници-на, а? Грудито видали, прям антоновка, золотой налив!.. Как думаете, она вправду с четвертого этажа сиганула бы?

– Э-э-э! – морщился Адыл Нигматович, – глуп-сти! Тот дженчина просто бандитка некультурный, больше ничего. Какой воспитаний у него, а? Вишел голый на балкон, дочка на перил садил... Кричал – сам прыгну, дочка ронять буду!.. Гришя, подумай сам – зачем горсовет такой скандал! Пусть уже сидит в тот квартир, самашедчий дженчина!

– Ты у меня отсюда бесплатно вылетишь, вместе с картинками, ветер в ушах запоет!

«Портрет бы с тебя, стервы, писать, – подумала Вера. – Уж больно живописна в яркой косыночке на рыжей завивке, в оранжевой этой кофте... Посадить у окна, чтобы свет – слева, а фон приглушенный, пожалуй, серовато-синий... Тогда лицо приобретет сияющий зеленоватый оттенок, дополнительный к красному, яркому... Та-ак... Свет от окна освещенную часть лица сделает холоднее, чем затемненную... а на той будет рефлекс от теплых оттенков обоев... Хм... так-так... аккорды зеленого и красного повторить в одежде... да... и более глухими отголосками на спинке стула... и тогда среда наполнится энергией двух этих цветов, из которых возникнет живописная ткань портрета...»

Ну, чего не жить как люди?

Вслух она сказала:

– Ну, смотри, не обижайся... Мать театрально захохотала.

2

Из большой и горластой семьи Щегловых – одних детей было трое, да мать с отцом, да тетя Наташа с сыном Володей, и все жили дружно и суматошно в двух комнатах в коммуналке на Васильевском острове, Четвертая линия; – так вот, из всех Щегловых в живых после блокады остались восьмилетняя Катя и брат Саша.

В армию Сашу не взяли из-за эпилепсии.

Их эвакуировали в Ташкент... И здесь Сашу и умирающую Катю взяла к себе на балхану узбечка Хадича.

* * *

«– Да нет, милая вы моя, все не так скоро делалось! И вообще, делалось-то как бы и не людьми, а безумной воронкой эпохи, которая всасывала всех нас в какую-то гигантскую утробу оцепенелого ужаса, голода и хаоса войны...»

Вы извините, что я так сразу, и сразу – с критикой. Вы сказали, что собираете воспоминания бывших ташкентцев, как вы выразились – «голоса унесенных ветром» – ну, и я

обрадовался. И хотя в Ташкенте я был только в детстве, в эвакуации, а потом вернулся в Саратов, я все же считаю себя вправе тоже «подать голос». Так что вот, посылаю запись...

...Я-то помню кое-что из того времени, хотя был совсем пацаном... – так, картинки отдельные. Представьте, что на некий азиатский город сваливается миллион вшивого, беглого оборванного люда... На вокзал прибывают эшелоны за эшелонами, город уже не принимает. И это разносится по вагонам, люди передают друг другу: «Город не принимает... не принимает... не дают прописку».

И все-таки горемычные толпы вываливались из поездов и оставались на привокзальной площади, расстилали одеяла на земле и садились, рассаживались целыми семьями в пыли под солнцем. Ступить уже было негде, приходилось высматривать – куда ногу поставить... А прибывали все новые, новые оборванцы... бродили по площади, встречали знакомых, спрашивали друг друга: «Вы сколько сидите?» Узнавали новости о близких, приходили в отчаяние... И все-таки сидели...

И мы с мамой сидели, изо дня в день... потому что ехать дальше – означало гибель, а в Ташкенте выживали, цеплялись за какую-то работу, жизнь вытягивала соломинкой надежды.

Помню, на этой, залитой солнцем и застланной одеялами, площади лежала женщина в беспамятстве. У нее было сухое, обтянутое кожей лицо и губы, иссеченные глубокими кровавыми трещинами. Кто-то сжалился и смазал эти кровоточащие трещины постным маслом, и вдруг она, не открывая глаз, судорожно принялась слизывать масло с губ...

... А вот еще картинка: мы с мамой идем по улице, над головой – сплошная зеленая крона с узорными прорехами ослепительного солнца, у мамы в руке наш единственный фанерный чемодан... а вокруг на гремящих самокатах разъезжают мальчишки и кричат: «Жидовка, скажи „кукуруза!“»... Я держу маму крепко за руку и, конечно, верю в ее силу... но все-таки немного страшно... На вокзале можно было взять носильщика – дюжего мужика, – он обвязывался ремнями-веревками и пешком тащил чемоданы по адресу, какой скажут... просто шел впереди тебя, сгибаясь под тяжестью баулов и тюков... С носильщиком было бы не так страшно идти по чужому городу... Но у нас ни тюков, ни денег не было, поэтому мама несла чемодан сама, только руки меняла. Остановливалась, говорила мне, тяжело дыша: «Подожди... зайди с другой руки»... и мы шли дальше... А самокаты сужают круги, все теснее кружат на своих гремящих подвизгивающих подшипниках: «Жидовка, скажи „кукуруза!“».

Мама вдруг остановилась и в сердцах крикнула: «Холера тебе в пузо!!!»... И это так понравилось мучителям, что они отстали...

...Рынки, конечно, помню... Алайский рынок, знаменитый... это был какой-то... Вавилон! Вот уж действительно где смешались языки-наречья, пот, слезы, тряпье, тазы, ослы, арбы, люди... А воря сколько! Вся страна беспризорная, голытьба окаянная сползалась в город хлебный, теплый... Люди говорили: «Самара понаехала!», почему-то считалось, что самарцы – сплошь ворюги... Когда в кинотеатрах стали крутить кино «Багдадский вор», появилась присказка: «Пока смотрел „Багдадский вор“, ташкентский вор бумажник спер»...

Помню, на рынке однажды поймали вора. И кто-то уже стал звать милицию, а один дядька – краснорожий, однорукий, сказал: «Не надо, сами справимся!»

Несколько мужиков сгрудились над пойманным, и только слышно: уханье и – хрясть, хрясть! Так дружно, так остервенело били!.. И только потом я догадался, что били-то его свои и что однорукий краснорожий был, наверное, главарем шайки, а того, пойманного, била вся его шобла, била до полусмерти – таким образом спасая...

Шестьдесят пять лет прошло, а эти картины у меня перед глазами, как вчерашний день... И вообще, сколько за плечами осталось – Саратов, Москва, десятки городов... Вот сейчас и до конца уже – Марбург, а я до сих пор, стоит только закрыть глаза, так ясно пред-

ставляю себе эту улочку, по которой мы с мамой идем, – высоченные кроны чинар сплетаются над головою в зеленый солнечный тоннель...»

* * *

...Хадича, маленькая проворная женщина, подвязав с утра косынкой седые жидкие косицы, целый день бесшумной юлой крутилась по утопанному, чисто выметенному дворику. А Катя умирала...

Истонченный блокадным голодом желудок отторгал пищу. Девочка лежала на цветастых курпачах, расстеленных на балхане, и молча глядела в теплое узорное небо, сквозившее радужными снопиками сквозь листья чинар. Виноградные лозы оплетали деревянные столбы балханы. Настырный ветерок трепал на плоских крышах алые лепестки маков... Где-то во дворе с курлыкающим ровным звуком день и ночь вдоль дувала катился арык...

Саша сидел рядом, обхватив колени, – сутулый, мосластый, сам донельзя худой, – и тихо плакал: он понимал, что Катя умирает и он остается один из Щегловых, совсем один, в этом бойком южном городе, среди чужих людей. Он никого к Кате не подпускал и все разговаривал с ней, отворачиваясь и отирая слезы рукавом рубашки.

– А потом, Катенька, мы поедем на острова, на лодке кататься. Помнишь, как первого мая, до войны? Нам тогда еще двух лодок оказалось мало, тетя Наташа на берегу осталась... А Володька так перегнулся через борт – за твоим уплывшим шариком, – что мы чуть не перевернулись... помнишь? Я буду грести, а ты вот так сядешь на корме и руку опустишь в воду, а вода ласковая, теплая... Это обязательно будет, Катенька...

Хадича несколько раз поднималась на балхану, смотрела на девочку, качала головою и бормотала что-то по-узбекски. Под вечер, завернув в головной платок сапоги старшего сына, Хикмата, ушла и вернулась через час без сапог, осторожно держа обеими руками поллитровую банку кислого молока.

– Кизимкя, бир пиалушка катык кушай, – озабоченно приговаривала она, натряхивая в пиалу белую комковатую жижу.

– Оставьте ее... – угрюмо простонал Саша, – все равно вырвет...

И тут лицо тихой Хадичи изменилось: она тонко и гневно закричала что-то по-узбекски, даже замахнулась на Сашу худым коричневым кулачком, сморщенным и похожим на сливу-сухофрукт.

Осторожно подложив ладонь под легкую Катину голову, приподняла ее и поднесла к губам девочки пиалу. Катя потрогала губами прохладную кислую массу, похожую на жидкий студень из клея, а еще на довоенный кефир... послушно отхлебнула и потянулась – еще.

Хадича отняла пиалу, покачав головой: нельзя сразу. Весь вечер она просидела возле девочки, разрешая время от времени делать два-три глотка...

На другой день размочила в оставшемся молоке несколько кусочков лепешки и позволила Кате съесть тюрю.

Саша уже не плакал. Он бегал к колонке за водой, раздувал самовар, помогал у тандыра, подметал двор, и бог знает что еще готов был сделать для этой женщины, для ее четверых, тоже хронически голодных, смуглых, точно сушеных, ребятишек.

Двое старших сыновей Хадичи постигали правила русского языка в окопах Второго Украинского фронта, муж давно умер.

Дня через три Катя уже сидела во дворе на большой квадратной супе, свесив слабые тонкие ноги, опираясь спиной о подоткнутые Хадичой подушки, и глядела с тихим удивлением на крикливые игры ее черноглазых детей. Говор ей был непонятен, а игры – понятны все...

С того военного лета этот город, эти узбекские дворики с теплой утоптанной землей, эти сквозистые кроны чинар, погруженные в глубину неба, означали для нее больше, чем просто – жизнь; все это было жизнью подаренной.

* * *

«– ...Это вы замечательно решили – писать роман о Ташкенте! Такой город не должен быть забыт... И, знаете, здорово придумано – собирать „голоса“. Каждый такой голос – а нас, бывших ташкентцев, по всему свету разбросано немало, – может вам отдельный роман наговорить, роман своей жизни. И я с удовольствием наговорю, что помню...»

Я тут недавно набрел в Интернете на сайт под названием «Алайский»... и там переключка наших земляков: «Кто учился в мужской средней школе им. Сталина, Хорезмская, 8, – откликнитесь!»... «Кто с Тезиковки, ребята, – отзовитесь!»... Какой-то местный парень берет заказы на фотографии. Ты называешь объект: главпочтамт, например... – помните каменных львов на его угловом, вечно заколоченном парадном? Говорили, что это единственные каменные львы в городе. У меня они ассоциируются с детством, потому что няня разрешала посидеть верхом то на одном, то на другом – они в разные стороны смотрели, словно торчали на шухере... Или, например, консерватория... или памятник в парке Тельмана... Так, значит, этот парень фотографирует за сущие копейки и присылает – все-таки память... Очень удобно! Вот живешь ты у себя в Солт-Лейк-Сити лет эдак тридцать, а снится тебе ночами Шейхантаур, сине-лазурный орнамент на мавзолее шейха Хавенди Тохура... кладбище, мечеть... Площадь, где проходили гуляния на узбекских праздниках, особенно после уразы – религиозного поста. Да, Шейхан-таур... это был город в городе, знаете... Такой Багдад: путаный бесконечный лабиринт переулков, тупиков, бесчисленного множества узбекских дворов... А что такое узбекский двор? Это комплекс полного жизнеобеспечения. Сам дом, наверху – балхана... Не знаете? Ну как бы объяснить вам... это балкон – не балкон... не антресоль... а нечто вроде пристройки наверху... так что дом тогда казался двухэтажным... А крыши... они земляными были, поэтому весной на них прорастала трава, трепетали нежным пламенем первые маки под еще свежим ветерком...

По двору протекал арык, над ним строили такой квадратный деревянный помост – айван, или супу... бросали на него множество курпачей – небольших, простеганных вручную, ватных одеял. От них всегда пахло прелым человеческим духом, стирать их не стирали, а вывешивали на солнце – сушили, проветривали... На айване спали, принимали гостей, чай распивали... От арыка шла прохлада в жаркий день, и звук бегущей воды успокаивал, расслаблял...

Во дворе всегда была пристройка, кухня, и низкая кирпичная, обмазанная глиной, печь – тандыр, в ней пекли лепешки, самсу... Дух горячей узбекской лепешки забыть невозможно, он снится мне здесь, в штате Юта, по ночам... Снится, как молодой узбек палкой поддевает ее, вынимает, – круглую, в подпалинах на бугорках, с обожженными зернышками тмина, а посерединке у нее вдавленный такой, жесткий, хрусткий пяточок, за который можно душу дьяволу продать! И от нее волна горячего запаха... как бы это объяснить... материнского запаха, знаете... вот, слов не хватает!.. Да мир на этом запахе стоит!

А в самих домах были низкие такие, как кофейные столики, печки – не помню принцип, по которому они работали, врать не стану... а только сидел ты на полу, на курпачах, ноги засовывал под этот столик и чувствовал тепло... Было замечательно! А стряпали многие во время войны на чем? На мангалке! Я, знаете, за свою жизнь бывал во многих местах, поездил по командировкам, но нигде больше такой народный агрегат не встречал. Сейчас опишу... Берется старое ведро и из него делается печка. Дырявятся по бокам два отверстия – одно для дров, другое – золу выгребать. Поверху – решетка из толстой проволоки. Чтоб железо не

прогорело, изнутри ведро выложено обломками кирпича и обмазано глиной. На мангалках половина Ташкента всю войну варила и кипятила...

Вот что озадачивало у них с непривычки – туалет. Обычная пристройка в углу двора, с дыркой, чтоб сидеть на корточках, а у стенки – ведро, полное круглых глиняных камней. Если у русских в туалетах на гвоздике висели обрывки газет или листки из школьных тетрадей, то у узбеков, вот, камни использовались для этой нужды... Интересно, правда?... Мы, конечно, притаскивали свой материал для такого ответственного дела. Помню, в туалете мне попался лист из какого-то старого журнала, там была напечатана вредная белогвардейская поэма, называлась «Драма русского офицерства», и внизу страницы: «Типография Г.А. Ицкина, в Ташкента». Взрослые не обращали внимания – чем подтирались, хозяева-узбеки тем более... А я просек что-то необычное, запретное... пацана запретным только помани! Приволок лист домой... И так мне отец за него по ушам навесил!.. Лично сжег на свечке! Да только поздно, поздно... память детская, само все в нее влетает... я уже наизусть много строчек знал, хотя не все. Представляете – даже сейчас начало помню. Там так:

Христось Всеблагій, Всесвятый, Безконечный
Услыши молитву мою.
Услыши меня, о Заступникъ Предвечный.
Пошли мне погибель, въ бою.
На родину нашу намъ нету дороги:
Народъ нашъ на насъ на же воссталь,
Для насъ онъ воздвигъ погребальныя дроги
И грязью насъ всъхъ закидалъ.
Въ могилахъ глубокихъ безъ счета и меры
Въ своем и враждебныхъ краяхъ
Сномъ вечным уснули бойцы офицеры,
Погибшіе въ славныхъ бояхъ.
Но мало того показалось народу:
И вотъ, чтобъ прибавить могиль,
Он, нашей же кровью купившій свободу,
Своихъ офицеровъ убиль.

Ну и так далее, дальше уже не помню... Что за народ? Каких таких своих офицеров он убил? Когда все это стряслось? Взрослых я спрашивать опасался: шла наша собственная война, где героями были и солдаты, и офицеры... И долго мне смысл этой поэмы казался темным...

Да, так, Шейхантаур... там все было свое – парикмахерские, школы, Юридический институт, зубоучебный кабинет, рынок... Даже кинофабрика – в ней еще немые фильмы снимались! И все жили скопом, как в кучу наваленные... По соседним дворам у нас много лепилось раскулаченных русских, старообрядцев, были татары, армяне, евреи... Во время войны эвакуированные жили даже в мечети, позже она была складом, а с возрождением национальной независимости... но этого я уже не знаю, это уже не при мне...

Ну и чайханы на каждом шагу... Узбекский мужчина без чайханы не может никак – это как для англичанина его клуб. Узбеки сидят в чайхане в чапанах – полосатых и синих ватных халатах, в чалмах, в тюбетейках... и весь день пьют чай, потеют... – им пот служит вентилятором, а чапан удерживает температуру тела в течение всего дня... Вековые народные традиции – так спасаются от жары... Но еще – и это тоже, никуда не деться, вековые традиции! – из темной глубины помещения всегда потягивает характерным запахом гашиша, по-ихнему – анаши... Восток без дурмана, говорил мой отец, что скупой без кармана.

Лет пять назад приезжал я уже отсюда, из Солт-Лейк-Сити, в Ташкент – взглянуть на свою первую школу... Ничего не узнал! Все перестроили; вместо милых ташкентских особнячков – какие-то циклопические сооружения псевдо-мавританского шика: купола, арки, мраморные гигантские площади под нещадным солнцем... Идешь к такому издали, думаешь – ну, это, наверное... парламент? Величественный, инопланетный, нечеловеческих пропорций... Театр на двадцать тысяч мест? Подходишь ближе, выясняется: какой-нибудь Дом моделей.

А от Шейхантаура, моего Шейхантаура, который я избегал босыми ногами вдоль и поперек, и кругом, и петлями, так что моей «стезей» уличной можно бы, наверное, обернуть экватор... – от Шейхантаура осталась только изразцовая мечеть. Стоит, как ворота в никуда – в город, которого нет больше ни на одной карте...».

3

Нищие старики и старухи стоят у крыльца булочной, что на Каблукова, ждут – иногда какие-то сумасшедшие, отоварив карточки, дают им довески. Но Катя никогда не дает – как можно?! Хлеб?! Разве хлеб можно отдать, хотя бы крошку?! Нет, она торопясь проходит мимо, и, только отойдя шагов на двадцать, достает из пакета довесок и медленно съедает: сначала пережевывает мякоть, не глотая, – тогда слюна проникает во все крошки, наполняет их, пружинистая пористая плоть хлеба набухает, превращаясь там, во рту, во вкуснейшую кашу... Теперь можно постепенно глотать, распределяя кашу языком на части...

Иногда, если день начинается удачно, довесок попадается с мягкой, еще теплой коричневой корочкой. Ее можно с самого начала отгрызть, подержать в кулаке, пока лелеешь во рту мякоть, а потом всю дорогу до дому сосать корочку, пока и она не растворится совсем. Но и тогда еще долго вылавливаешь из-за щеки и подталкиваешь языком к зубам разбухшие крошки...

Еще Саша на своем авиационном заводе добывает талоны на обед. Обеды выдают в консерваторской столовой, через окошко, во дворе. Надо только приходиться со своей кастрюлькой. И Катя приходит, ни разу не пропустила! Она лучше школу пропустит! Чего она в той школе не видела? Все равно мысли только о еде... К окошку выстраивается очередь, но это ничего, постоять можно, только Катя всегда волнуется, что ей не хватит. Первые блюда разливает алюминиевым мятым половником здоровенный мордатый парень с кудрявым чубом через все лицо. Заставить бы его подхватить заколкой, чтоб в половник не попал. Однажды в очереди перед Катей стоял пожилой дядечка с седой бородкой, в шляпе. Он принял у мордатого свою кастрюльку, отошел в сторону и стал выливать мутную жижу на землю. Вернулся к окошку и спрашивает: «Какой у вас выход?» Мордатый что-то буркнул. А тот: «Нет, здесь не будет столько!» – «Да чего ты привязался!» – «А того, что я и сам был поваром и знаю, что к чему!» Повернулся и пошел с пустой кастрюлькой. А чубатый вслед ему нагло и насмешливо пропел: «Сам был поваром и знает, что все повара воруют!»... И вся очередь промолчала, словно люди боялись, что следующему затируха не достанется...

К обеду полагался еще кусочек черного хлеба, его выдавали в буфете, это с главного входа консерватории и направо. Буфетчица обмотана крест-накрест оренбургским платком и точно таким же платком обмотана ее толстая дочь-даун, Катиного возраста. Она все время смотрит на Катю сонными добрыми глазками... Наверное, жрет с утра до вечера, вот и добрая, вот и спать хочется... Этим всех, добрых, Катя ненавидела особенно: если добрая да улыбается, значит, уж точно что-то у меня украла...

Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало счастье! Главное, Катя с утра чувствовала, что сегодня случится что-то особенное! Толстая буфетчица резала пирог, взвешивала порции, и короткие ее пальцы лоснились от повидла... Катя

продвигалась в очереди, неотрывно смотрела на сладкие эти пальцы с отставленным в сторону мизинцем и лихорадочно думала: «Чего ж она пальцы-то не оближет?! Или дала бы дочери полизать...»

Эх, а вот бывает же счастье: однажды перед школой, как раз когда все высыпали во двор на перемену, опрокинулась двуколка, а вместе с ней и бочка патоки. Бочка лежала на боку, патока вытекала черной густой сладчайшей кровью, в луже ее топталась лошадь, которую дурак-возница никак не мог выпрячь... В секунду, как рой мух, на лужу налетела малышня, совала пальцы в патоку, облизывала. Кате тогда много досталось – она билась как безумная, раскидала многих... В классе ее даже мальчишки боятся...

У входа в консерваторию тоже слоняются нищие. Они очень надоедливые, хотя не все, – вот на Пушкинской, между домами 39 и 41, всегда сидит инвалид, играет на камышовый дудке одну и ту же бесконечную мелодию – однообразную, очень грустную. Никогда ничего не просит, костыли рядом лежат, на земле. Люди проходят и что-то дают. Но Катя?! – Нет, нет! Тем более никогда ничего она не даст Примусу – чокнутому бородатому деду с палкой. Примус, тот, наоборот, никогда не сидит на месте. Его можно увидеть где угодно – на Шейхантауре Катя тоже встречала его не раз, а однажды видела, как он с проклятьями гонялся за пацанами, которые дразнили его: «Примус, Примус, горелая жопа!», и бросался на них как дикий, чуть Кате не досталось палкой...

Вот кого надо опасаться – это беспризорников. Они воруют карточки, и нет ничего страшнее на свете, чем карточки потерять. Недавно Катя видела женщину, у которой беспризорники вытащили карточки на месяц. А месяц ведь только начался! Та сидела на крыльце булочной и выла, как бешеная собака, и кусала свои руки с такой силой, что по ним уже и кровь лилась. Люди толпились вокруг, жалели, конечно, но чем тут поможешь?... Не будь растяпой...

Нет, все-таки хорошо в Ташкенте, вот уже скоро весна, значит, тепло придет, и – солнце будет все лето! Все лето будет солнце...

* * *

... И долго еще Катя жила с ощущением подаренной жизни, долго; пока на авиационном заводе, где работал Саша, не взорвался паровой котел. Люди всякое говорили, кто-то утверждал, что не сработал изношенный предохранительный клапан. Но больше было таких, кто горел ненавистью к расплодившимся врагам народа; всплыло ходкое в те годы слово «диверсия», делу был дан соответствующий ход, всех, кто в ту ночь дежурил на заводе, и Сашу в том числе, судили, и припаяли большой срок. Но Саша до тех мест, где выпало срок отбывать, не доехал, он умер по дороге от сердечного приступа. Так Кате сказали в окошке, а идти добиваться правды она боялась. Да и куда идти?

В тот год она заканчивала ФЗУ по специальности «швея-мотористка», жила в общежитии и уже не верила в подаренную жизнь, а понимала, что нужно отчаянно драться и много вытерпеть за этот подарок.

– Ну что, Саша, – строго прошептала она колючими сухими губами, – не поедем уже на острова на лодке кататься...

Сделала на руке наколку «Саша» – синей тушью и, чтобы перебить в себе щенячий скулеж тоски, больно укусила свой кулак.

В этот же вечер Катя побила соседку по комнате, шустрюю компанейскую хохлушку, – за то, что та потешалась над ее шепелявостью.

* * *

«... – Тебе когда-нибудь снится военный Ташкент, мам?»

– Так, иногда... если голодная на ночь лягу... А ты к чему спрашиваешь, я для тебя тоже – «голос в романе»?

– Почему бы и нет. Ты ведь не чужая этому городу...

– Знаешь, что снится? Наша студенческая столовка возле Воскресенского базара... как я мухлюю там с талонами!

– Как это – мухлюешь?

– А так, на них на каждом стояла дата, проставленная карандашом. Надо было стереть ее резинкой и встать в другое окошко.

– Тогда можно было взять вторую порцию? А чем кормили?

– Да там только одно блюдо и было в меню: затируха. Не суп и не каша... а жидкая бурда на муке... Ты должен был являться со своей миской и своей ложкой, тебе наливали порцию... Причем к этой столовке прикреплены были и студенты, и профессорский состав. У меня однажды случай смешной произошел... Я случайно поменялась портфелями (они одинаковые были, клеенчатые) со знаменитым московским профессором по фамилии Хайтун, он читал у нас курс истории древних веков по собственному учебнику. Сам Хайтун был страшно уродлив, но необыкновенно остроумен. Помню, впервые войдя в аудиторию, сказал: заниматься будем по моему учебнику с моим портретом – и поднял его над головой: на обложке был нарисован неандерталец. Так вот, я, понимаешь, сидела за первым столом, чтобы не заснуть после заводского дежурства. Наши портфели лежали рядом. Прозвенел звонок, он схватил мой и пошел. Я вспомнила – что там у меня в портфеле... чуть со стыда не умерла... Догоняю его в коридоре, говорю: «Профессор, вы по ошибке взяли мой портфель!» Он ахнул, мы обменялись своими клеенчатыми кошелками... и я, осмелев, говорю: «Мне ужасно стыдно: если б вы его открыли, то обнаружили бы только миску и ложку для „затирухи“! Он расхохотался, и в ответ мне: „Дитя мое, если бы вы открыли мой, то увидели бы то же самое“...»

Они, бедные, голодали пуще нашего. Особенно зимами. А я тебе рассказывала, какие страшные зимы на войну выпали? Университет не отапливался... Боже, в каких обмотках и тряпье они ходили, наши профессора! Была преподавательница одноногая, она курила, ее мальчики наши угощали «Беломором»... – так одна из дур на курсе, с обмороженными ногами, как-то сказала ей: «Вам хорошо, у вас только одна нога!»... И еще преподавательница Московского университета – Кирова, Кира Эммануиловна – вот надо же, помню! – жутко была одета... Она эвакуировалась в одночасье, – понимаешь, времени не было собраться. Так и ходила – в митенках разного цвета, чулки и носки разные... Но! Входила в аудиторию и начинала лекцию с того слова, которым закончила предыдущую!.. Бедняги, они совсем доходили... Не могли же они, как мы, подрабатывать... Вот я – отлично жила!

– Отлично?! Ты говорила, что подвязывала веревками картонные подошвы туфель.

– Ну и что? Ну и подвязывала! Но я ж на заводе еще 800 граммов хлеба получала, шутка ли? Я его продавала и ходила на спектакли. Знаешь, какая театральная жизнь была в военном Ташкенте!

– Что за спектакли?

– Ну, разные... В ГОСЕТе, например, шли «Тевье-молочник», «Фрейлахс» с Михоэлсом и Зускиным... Помню, рядом сидели какие-то офицеры, вовсе не евреи, – в Ташкент же было эвакуировано несколько военных академий, – ничего на идиш не понимали. Услышали, что я гогочу, сели вокруг и потребовали, чтобы я переводила... ну, я и переводила

весь спектакль... Не знаю – то ли время было такое, военное, то ли нравы почище, но только мы что-то не слышали о каких-то бытовых преступлениях... Я после спектаклей всегда шла пешком до общежития...

– А где было общежитие?

– На Лобзаке, по десятому трамваю... Общежитие, кстати, тоже всю войну не отапливалось. Мы как согревались? Сдвигали по две кровати, укладывались вместе по трое девочек и накрывались тремя одеялами... Эх, а какой мы однажды устроили картофельный бал! Картошка была недостижимой мечтой, 50 рублей кило. И мы сбросились со стипендии, – целый месяц мечтали, копили! – накупили картошки, наварили ее, и... обожрались, как целый полк Гаргантюа – до отвала! И все, как одна, блевали потом всю ночь... Организм, понимаешь, отвык от такой еды... Хотя вот, знаешь, что у нас варили в заводской столовой? Черепаший суп! Столовую можно было опознать по горе панцирей на заднем дворе... Целые грузовики черепах гнали из Голодной степи... Мы сначала поеживались, не знали, что это французский деликатес... Потом – ничего, особенно когда постоишь на морозе на посту, на вышке... А морозы по ночам до 30-ти градусов доходили... За счет чего еще держались, хотя и не подозревали о полезности: на улице Навои сидели в ряд узбечки, продавали орехи. Мисочка – рубль. В нее штук десять орехов входило. А еще покупали в «дорихоне», в аптеке, бутылку сладкой жижи, тягучей, как смола, называлась «Холосас». Вытяжка из шиповника. И пили так чай: положишь три ложки в стакан – вкусно! Понятия не имели: витамины, калорийность, то, се... но именно это помогало выжить... Мы и на хлопок первое время ездили с большой охотой. Еще бы – в день полагались на рыло три лепешки и похлебка! Еду узбеки готовили, казалось бы – что там в этой похлебке, а – пальчики оближешь! С нами и профессора выезжали. Помню, профессор Сарымсаков – ректор наш, математик, крупный ученый, входил в студенческий барак утром – огромный фартук на брюхе, лицо и руки сажей перемазаны – и кричал: – «Самовара подана!»... Понимаешь, мы были молоды, такая вот банальность... Сейчас я себе представить не могу, как зимой, бывало, в телогрейке стояла с винтовкой на вышке...

– погоди, а ты же говорила, что работала в цеху, обтачивала корпуса для мин...

– ...это уже потом, по благу меня устроили. Понимаешь, однажды мерзавец-нарядчик забыл меня сменить, и я на морозе четыре часа проторчала на вышке. Но ведь не уйдешь, нельзя... и я доковыляла до цеха утром, на рассвете, – стою, плачу, пальцы обморожены, не разгибаются... Меня увидел замначальника 2-го цеха, подозвал, разговорился со мной (оказывается, я ему напомнила его девушку, которую он потерял, не спрашивала уж – как) ... ну и поставил меня на станок... Там многие работали, второй цех был большой. Дети несовершеннолетние тоже... Некоторым приставляли ящики, чтоб до станка доставали... У меня были ночные смены.

– Постой, днем – университет, ночами – завод... Когда же ты спала?

– Ну, это уж как где прихватишь... У меня в жизни самый сладкий сон знаешь когда был? С четырех до пяти утра. Это самое страшное время, когда можно задремать и угодить ненароком в станок. Мы по очереди ходили спать в туалет, он отапливался... Сядешь вот так, прямо на цементный пол, коленки обхватишь, к стенке спиной привалишься и минут двадцать дремлешь... Это и есть самый сладкий сон на свете... Подобного уже никогда в жизни не было... Так и напиши в своем романе...»

4

...Мать, если уж ставила перед собой какую-нибудь цель, то не отступалась; как дальнобойная торпеда насквозь прошивала любое препятствие на своем пути. Идея выжить из квартиры дочь так крепко засела в ее голове, так засияли райскими чертогами в ее вообра-

жениии две совершенно свободные комнаты, что заявления в милицию и в ЖЭК она писала аккуратно, через день, дело это знала, понимала, что в нашем государстве свет клином на желторотом пацане-участковом не сошелся, есть и посолиднее люди, заступятся за обездоленную мать. Заступились.

Утром раненько прибыл «воронок» с двумя ментами, и забрали их обеих в отделение – разбираться в пухлой папке заявлений. Вера поехала как была – в заляпанных краской джинсах и ковбойке, – видик тот еще.

Всю ночь она просидела над срочным и выгодным заказом: несколько плакатов для соседней сберкассы (деньги в руки и на месте), и хотя утром заставила себя засесть за мольберт, – все же выпускной курс, надо и диплом писать, – рука была вялой, глаз «мылился».

Вера словно ожидала всего этого: не удивилась, выяснять и объяснять ничего не стала, молча полезла в «воронок». Только взгляд потемнел и отяжелел. Она не глядела на мать.

Та – напротив, как увидела милиционеров, встрепенулась (решила, что за Веркой приехали) и на лице изобразила горестное смирение: мол, только крайность, только горькая моя доля заставляет просить защиты от зверств родной дочери; но когда и ее под локоток повели к машине, вскинулась, возмущенно запричитала и, к большому удовольствию всего двора, долго отбивалась, как дикий вепрь, упираясь толстыми, широко расставленными ногами в кроссовках, – пока ее не утрамбовали в «воронок».

Весь день их продержали в КПЗ. В камере мать приутихла и даже пробовала вступить с дочерью в переговоры, чтобы вызнать – не намерена ли Верка рассказать о ящиках с чешской плиткой. Но Вера молча сидела на полу, обхватив приподнятые колени и уперев в стенку нехороший свинцовый взгляд.

Только не здесь, уговаривала она себя, только не здесь... Главное усилие ее было направлено на то, чтобы не смотреть на мать. Куда-нибудь в сторону, в грязно-зеленую стенку, всю исчирканную непристойными рисунками, ругательствами и именами, в пол, в решетчатое окошко под потолком, за которым временами взмахивал тополь худой рукой... только не на это, в красных пятнах, возбужденное лицо, не на эти рыжие кудряшки, не на эти невыносимые кроссовки. Иначе можно сойти с ума от взрывающей все изнутри ненависти. Только не здесь, только не здесь...

Под вечер дверь камеры открылась, пожилой милиционер-кореец повел их коридорами на второй этаж, в кабинет, где с полчаса с ними беседовала грузная женщина в форме.

Вера отвечала на ее вопросы – имя, фамилия, да, нет, – что-то односложное, чтобы не сбить себя с этой спасительной мысли: только не здесь.

Мать вела себя смиренно – видать, приуныла за целый голодный день в КПЗ, а может, вспомнила свой недавний барак, и воевать с дочерью расхотелось...

Сидела и подобострастно кивала с сокрушенным видом. Вера была убеждена, что она «представляет» – траченную жизнь, больную мамашу... Сцена под названием «Я понесу и этот крест...»

Когда женщина-следователь поднялась из-за стола и прошла к шкафу за каким-то бланком, Вера увидела ее ноги – отечные, перевитые темными венами, как виноградной лозой. Она произносила казенные бессмысленные слова размягченным от жары голосом, вытирала пот с полного лица, и видно было, как она устала за день, как хочет принять душ, накинуть халат и лечь в свою постель. Такая жаркая стояла, исступленная осень. Тяжелое небо и ни капли дождя.

– И это уж в последний раз, – вяло говорила женщина в форме. – Как же так, родные люди! Как же так можно? Надо прощать друг другу недостатки, слабости...

«Слабости, недостатки, – думала Вера. – Только не здесь».

Душно было, тягостно, голова ломилась от долбящей затылок боли, – видно, менялось атмосферное давление или сказывался голодный день.

– Я правильно говорю, Вера Семеновна? Вера Семеновна?

– Только не здесь, – глухо проговорила Вера. Наконец их отпустили.

Домой шли молча. Вера впереди, мать – чуть отставая. Уже стемнело, но Вере казалось, что в глазах у нее темно от душной, тягучей ненависти, такой же давящей, как атмосферное давление.

Мать что-то почувствовала – до самого дома плелась притихшая и понурая, как овца.

Они поднялись на четвертый этаж. Вера открыла дверь, пропустила мать в темную прихожую и вошла следом, гулко хлопнув замком.

Схватила мать за горло и, сильно сжав пальцы, привалила к стене.

Мать захрапела, выкатила глаза так, что в темноте прихожей они сверкнули стеклышками оцепенелых зрачков, и впиалась ногтями в руки дочери. Та сдавила ее мягкое полное горло еще сильнее... Мать закатила глаза и обмякла. Вера почувствовала дурноту.

– М-м-м... м-месяц! – проговорила она срывающимся шепотом. – Месяц даю тебе, чтоб разменяла квартиру... Через месяц не разменяешь – убую!

...Мать разменяла квартиру за две недели.

* * *

Шарахнулись друг от друга в противоположные концы города. Два часа добираться двумя автобусами. А зачем и к кому? Ни та к этой, ни эта к той...

Вера привезла в свою однокомнатную малогабаритку на последнем, четвертом, этаже этюдник, книги, картины и Сократуса в рюкзаке... Кот выпрыгнул в пустой комнате, ошалело огляделся, и до вечера обхаживал новое жилье, оскорбленно уворачиваясь от нежностей, бесшумно возникая то в кухне, то в ванной... Потом оба поужинали купленными по пути сырыми сосисками, и Сократус хмуро улегся на Вериных тапочках. Ему, хлебнувшему тяжелого детства, бытовые потрясения были не по нутру.

Она же долго стояла посреди пустой комнаты, не зная – с чего начать здесь жизнь. Хотелось чаю, но мать забрала чайник себе, как, впрочем, и все остальное.

Окно комнаты выходило на дорогу, круто обегавшую островок старинного мусульманского кладбища.

Говорили, что здесь похоронен какой-то святой невысокого ранга. При строительстве жилого квартала дорога должна была накрыть собой и выгладить три-четыре древние могилы, но старцы ближайшей махалли отвоевали у горсовета покой для святых костей. Щетина выгоревшей травы мирно пробивалась между лазурными плитками щербатого куполка мавзолея. А за дувалом древнего кладбища ехал новый синий троллейбус.

Вера достала свой любимый блокнот в черном кожаном переплете, карандаш, приотстилась боком на подоконнике и стала все это зарисовывать. Когда стемнело, бросила на пол, под батарею, осеннее пальто, растянулась на нем и через минуту уже уснула молодым неприхотливым сном – не мята, не клята, – в своей собственной квартире, в своем углу...

5

Не было своего угла у Кати. Она работала на кенафной фабрике и снимала угол в одной семье.

Семья – неумолимая старуха баба Лена, ее дочь Лидия Кон-дятьевна, учительница математики, и внуки Колян и Толян – были домовладельцами: им принадлежала половина дома – комната, кухня и прихожая с террасой.

Дом держался на бесценной бабке. Дикой энергии была старуха. С утра затевались одновременно стирка, готовка, шитье новых наперников на подушки. Тут же разводилась в ведре побелка, и баба Лена сама, подоткнув юбку, раскорячившись, взбиралась на табурет и скоренько белила потолок в прихожке. Бывало, именно в такой горячий момент в переулке раздавался тягучий, как зов муэдзина, рев керосинщика в жестяной рупор, а через минуту въезжала машина с углем, которым топили голландку, обогревающую и эту, и другую половины дома. Баба Лена успевала все: и за керосином сбегать, и скомандовать – куда уголь сгрузить, и поругаться с шофером, и перекинуться новостями с керосинщиком... Жизнь ее кипела и бурлила, как вываренное белье в баке.

Кроме того, бабка снабжала семью овощами, половину двора занимали ее грядки с картошкой, морковью и луком, – двенадцатилетние оболтусы Колян и Толян жрали без перебива, хватали все, что на глаза попадет, а однажды стащили из-за занавески и слопали целую пачку печенья, которую Катя купила с полочки, побаловать себя.

На это бабка Лена восхищенно выматерилась и развела перед Катей руками.

Бабка потакала внукам, мать избивала. За все: за бычки, найденные в уборной в углу двора, за вранье, за опустошенную кастрюлю с борщом, за воровство яблок с соседской яблони.

Приходила бледная после целого дня работы, ела наспех, садилась за проверку тетрадей и сидела над ними за полночь, – с серым лицом, слезящимися глазами. Сыновьями не управляла, а потому просто лупила. Те уже отбиваться стали, вопили, валили друг на друга.

– У тебя почему, сволочь, изо рта дымом несет?!

– Да я это, ма... я во рту бумагу жег... ай, не бей, мам, пусти!!! Это все Толян!

– Я?! Это ты, гад, сам первый... Ай, мама!!! Это не я... это... беспризорники меня поймали... и курили... и дым мне в рот вдыхали! Не бе-е-ей!!!

Бабка потакала, мать избивала. Колян и Толян колотились между двумя этими женщинами, и сатанели день ото дня.

Катя старалась возвращаться попозже. Трамваем доезжала до конечной, в район Шейхантаура, и еще минут пятнадцать шла пешком, мимо освещенной чайханы, где до утра в любую погоду в ватных халатах сидели узбеки на курпачах, пили чай с колотым желтым сахаром, заедали лепешками; шла мимо мечети, мимо угасающего, но шевелящегося базара: кто-то еще продавал оставшиеся виноград и арбузы, два-три алкаша валялись чуть ли не под колесами арбы, полной дынь, отдающих ночи свое теплое желтоватое мерцание... Вдоль дувала, на котором углем было написано: «Шурик отбил у Левы толстожопую бабу», разгуливал сторож-узбек с ружьем, неизвестно что охраняющий – базар, мечеть или здание киностудии... В летней тишине, насыщенной запахами травы и деревьев, остывающего асфальта и трамвайных рельсов, запахами огромной пряной, дрожжевой-пахучей, навозной туши базара, слышалось кваканье лягушек, пение сверчков и далекий зов привязанного на задах базара осла...

... В то время завелись у Кати кое-какие дела. Не бог весть каким наваристым местом была кенафная фабрика, но нет-нет да удавалось вынести под кофтой метр-другой парашютного шелка, прочной белой материи с синими кляксами, – ее женщины брали на платья.

Материю скупала у работниц веселая спекулянтка Фирузка, оторва, лихо мешающая узбекский язык с русским матом.

– Каткья, ти, сука, буд скромни кизимкя, ти не торгуся, джалаб!

Катя торговалась отчаянно, копеечно, не только потому, что становилась скупее с каждым днем, а потому еще, что дрожащим холодком ютилась в душе ее сиротская тоска, и никого ей не было жаль, и никого она не любила. В цеху ни с кем не сходилась, никогда не выслушивала ничью историю, не сочувствовала – считала, что ей собственной истории хватает, кто бы ей посочувствовал. Одна и одна. Даже в гости пойти не к кому, даже прогуляться «по Карла-Марла» не с кем...

* * *

...Улицы послевоенного Ташкента... – глинобитные извилины безумного лабиринта, порождение неизбывного беженства, смиренная деятельность по изготовлению библейских кирпичей...

Совсем недавно, уже в Иерусалиме, валяясь, как обычно в Судный день, на диване и читая Пятикнижие, я обнаружила, что мой дядька возводил свой кривобокий саманный домишко на Кашгарке из таких же кирпичей, какие лепили в египетском рабстве мои гораздо более далекие предки. Вот он, вечный рецепт кирпичей изгнания: смешиваем глину с соломой и формуем смесь руками. Руками, господи, руками, – и блажен тот раб, кто может сказать о себе: «Это мне не пригодится!»

Она всплескивает во мне и, очевидно, не смолкнет уже до самого конца – музыка улиц послевоенного Ташкента. С утра под звяканье бидонов выпевал густой голос молочницы: «Моль-лёкоу! Кислий-пресний мол-лё-ко-у!»... Ей вторил голос другой, помоложе: «Кисляймляка! Кисляймляка!»... Вслед за этим дети ее стучали в дверь и спрашивали без выражения: «Сухойхлэ-бесть?» – сухой хлеб они размачивали и кормили им своих животных. Молча распахивали чистую полотняную торбочку, в которую мы ссыпали корки и горбушки, если же хлеба не было, так же бесстрастно переходили к другой калитке.

Чуть позже раздавалось шарканье галош, и зычный голос старьевщика раскатывал-разворачивал: «Шар-ра-бар-ра пак-пайм! Ста-а-арий вэшшш!» Дважды в неделю, запряженная полудохлой клячей, в переулочек въезжала колымага, и престарелый герольд в телогрейке, провонявшей керосином, поднимал свой жестяной рупор: «Кар-ра-сы-ыин!», – вздымая интонацию в середине слова соответственно наклону самого рупора...

Из солнечной сердцевины дня могли вынырнуть странствующие стекольщик или точильщик – каждый со своей поклажей: всплеск солнца, стекающего с плеча на землю по квадрату стекла; огненный пересверк и брызги фиолетовых искр с лезвия точимого ножа...

Эмалевый блеск высокого неба в кронах платанов и тополей.

Ближе к вечеру, мягко озаренный уходящим светом, приезжал старый узбек на тележке, запряженной осликом: – «Джя-аренный кок-руз!» – и дети разбегались выклянчивать у родителей гривенник на белый рассыпчатый шар жареной кукурузы...

А спустя несколько лет над этими разрозненными звуками, голосами, припевками, певучими зазывами, высоко распахнется, блаженно их накрывая, беспредельный ангельский шатер «Джа-ама-а-а-ай-ки!»...

* * *

Жизнь в углу, за занавеской, под вопли Коляна и Толяна, тяготила Катю, но деваться было некуда, да и брали с нее недорого. Вечерами баба Лена звала пить чай за круглым столом, за которым обедали, делали уроки, проверяли тетрадки, кроили и шили, на который взбирались белить потолок, – крепкий дубовый стол, неизвестно когда и каким прибором переселенцев привезенный в Ташкент и купленный бабой Леной по случаю.

Катя выходила чай пить не с пустыми руками, всегда что-нибудь выносила из-за занавески: то стакан орехов, то горсть карамели на тарелочке. Это крепко в ней сидело: не одалживать и не одалживаться.

Вот так, в один из вечеров, за чаем завязалась свара, а потом и драка между верзилами Коляном и Толяном. Один погнался за другим, на бегу опрокинул стул с сидящей на нем Катей, и, падая, она вскрикнула тонким пронзительным голосом: страшная боль резанула желудок...

...Потом, когда уже ей сделали операцию, баба Лена объясняла соседям:

– Желудок, вишь, порвался. Она в блокаду наголодалась, желудок сильно тонкий стал, ну и порвался. А Толян тут ни при чем, так и врач сказал. Этот желудок, говорит, прям на честном слове у нее держался! Это, скажи еще, повезло, что ее привезли в его дежурство. Он как глянул на ее губы синие, голубые, так и скомандовал – на стол!

...После операции несколько дней Катю кололи морфием, – никак не унять было вопящее от боли нутро. Затихнув на короткое время, свернувшаяся кольцами боль вновь поднимала скользкую змеиную головку и, сквозь ватный заслон забытья, жалила, жалила изнутри...

Катя плакала, выла, требовала морфия... В конце концов сердобольная медсестра Галя не выдержала и сбегала за врачом. Как раз той ночью дежурил Сергей Михайлович, тот, что оперировал Катю. Когда он вошел в палату и строго наклонился над ней, она схватила его за полу халата, крутанула, наматывая на кулак, жалобно, стонуще приговаривая:

– Велите ей, Сергей Михалыч, Сергей Михалы-ич!!! Велите, чтоб укол сделала. Не могу! Не могу – не могу – не могу-у-у!!!

Он приблизил к ее дикому, залитому слезами лицу свое – худое, с длинными морщинами на вдавленных щеках, вроде даже отчужденное – и проговорил строго:

– Катя! Не безобразь! Терпеть надо!

И вышел. Но минут через десять вернулся, сел на ее койку, положил на тумбочку пачку «Беломора», достал спички и сказал:

– Ну, Катя, будем курить...

Так начала она курить, и с того дня полжизни, пока были в продаже, курила только папиросы «Беломорканал»... В тот раз они спасли ее от морфия, спасали и потом – от боли, от страха, от тоски. И покупая бело-голубую, с веной канала, пачку, Катя неизменно вспоминала Сергея Михайловича, чувствуя благодарное тепло в груди, которым даже немного гордилась: вот, значит, и она умеет любить кого-то.

Выписавшись из больницы, несколько раз приходила к Сергею Михайловичу, сидела в ординаторской и стеснялась. Он угощал ее чаем с сушками, расспрашивал про жизнь, а что Катя могла ему рассказать? Про кенафную фабрику? Про отчаянную спекулянтку Фирузку? Про чувство тошноты и уныния, которое накатывает на нее при виде прыщавых физиономий Коляна и Толяна? К тому же однажды за Сергеем Михайловичем зашла жена, жизнерадостная блондинка с морковными губами, с модной завивкой «москвичка», в широком плаще с надрезанными плечами.

И Катя сжалась, цыкнула на свою теплую глупость и дурацкую надежду и ходить к Сергею Михайловичу перестала...

6

В воскресенье на новую Верину квартиру пришел взглянуть Лёня. Деловито обшагал пустую комнату, потоптался у окна, восхищаясь трогательным куполком мавзолея, приговаривая:

– Ну и отлично... Ну и замечательно...

Как обычно, сунулся листать Верин блокнот, который сам же и привез ей в прошлом году из командировки, из Таллина. Квадратный, удобный, в обложке из черной кожи, с тисненными золотом латинскими инициалами ее имени, – этот блокнот был вечным: изрисованный блок бумаги вынимался, а вместо него вставлялся другой. А еще на кожаном исподе были пришиты две петельки – для ручки и карандаша. Дивный блокнот, вот что значит – традиции кожевенных ремесел у прибалтийских народов!

Под мышкой Лёня держал огромный квадратный сверток, тяготился им и не знал – как от него отделаться поделикатнее.

В комнате стоял только старый, заляпанный краской табурет, который Вере подарили на работе, в детском садике, и у стены, прямо на полу, лежал на брюхе безногий топчан. Он прослужил соседке лет двадцать, и года два уже как откинул копыта, так что, собравшись вынести старую рухлядь на помойку, соседка на полпути была остановлена Верой, и с удовольствием помогла той сопроводить топчан на четвертый этаж.

Ну, и картины стояли вдоль стен штабелями, и открытый этюдник у окна.

– Вот... – сказала Вера, – потихоньку мебелируюсь с помойки. Лёня, если б вы знали, как я уже люблю эту комнату, и какая я счастливая!

– В пустой квартире тоже есть своя эстетика, – заметил он, – ожидание новой жизни. А что это за синяя лента, вот здесь, на мольберте завязана? Какой интенсивный цвет на желтом дереве! Это концептуально? Это такой цветовой камертон?

– Да нет, это... – отмахнулась она, – некий талисман, на удачу... У этой ленты есть своя история... Потом, потом как-нибудь...

Он сделал три больших шага от окна к табурету, сел на него, сказал, ворочая на острых коленях сверток:

– Господи, куда ж эту штуковину девать? Подержите-ка, Вера, я очки протру!

Вера взяла у него сверток, неожиданно оказавшийся легким и пружинистым. Лёня протирал очки платком, вечно сохраняющим у него белизну и острое складки, и обводил стены рассеянным своим, близоруким взглядом.

– Да бросьте это куда-нибудь, – посоветовал он.

– Куда? – спросила Вера. – А что там?

– ...так, по хозяйству. Вообще, это вам.

– Мне? – настороженно переспросила она, заранее пугаясь размеров свертка.

И развернула его.

В бумаге лежал сложенный плед из шотландской шерсти, золотисто-шоколадный, в крупную темно-вишневую клетку, невысказанно роскошный для этой комнаты и, конечно, невысказанно дорогой. У Веры даже дыхание перехватило от возмущения.

– Лёня, вы сумасшедший человек! – расстроено сказала она, заворачивая плед в бумагу. – Вы спятели совсем! Что за дикие подарки? Забирайте немедленно!

– Вера, прекратите скандалить, – привычно возразил он. – Это полезная хозяйственная вещь, и вы... будете укрываться этой тряпкой... и больше ничего!

– Я прекрасно укрываюсь своим пальто, еще не хватало, чтоб вы на меня сотни выбрасывали! – воскликнула она, как всегда, заводясь и заранее зная, что перешибить его невозможно. – Заберете как миленький!

– Чепуха! Не устраивайте сцен.

– Заберете! – бессильно выкрикнула она, чуть не плача.

– Чепуха, я сказал.

– Да идите к черту!

Он пошел... на кухню, зажег газ, поставил на плиту чайник, стал доставать из портфеля свертки с едой. То есть вторая часть скандала ожидала его на кухне. Но он привык. Он, как

и Вера, до известной степени был человеком ритуала. Поэтому они никогда не ссорились. Только ругались.

Лёня – если не считать угасающего, выхаркивающего душу отчима – был, в сущности, единственно близким другом. Единственно близким – после смерти Стасика. Служил он в вычислительном центре Института ядерной физики, где-то в поселке Улугбек, и занимался какими-то модульными базами данных, что-то в них закладывал или, наоборот, выкладывал, неважно! Она ничего в этом не смыслила, да и не торопилась разобраться. Знакомы они были тысячу лет – года четыре, наверное...

* * *

В то время мать уже с полгода отдыхала от коммерции и страстей в казенном доме, работала там по специальности – швеей-мотористкой, изредка присылала с отбывшими срок какое-нибудь изделие: дивно вышитую наволочку или узорную сумку, плетенную из лески, – мать все-таки была рукодельницей удивительной.

Дядю Мишу, искалеченного и теперь постоянно трезвого, после больницы забрала к себе Клара Нухимовна; видать, не превозмог он себя – вернуться в тот проклятый Катин дом, да и на четвертый этаж не было сил подниматься. А Клара Нухимовна поселила его в новом флигельке, во дворе, – хорошая беленая комнатка, три на четыре, с отоплением, с окошком, смотрящим на грядки с черносмородинными кустами, – что еще нужно больному человеку? Он почти не выходил на улицу, в хорошую погоду часами лежал в гамаке, натянутом между корявыми старыми яблонями, и смотрел в небо, словно упорно пытался с такой невероятной дистанции дознаться: за что?...

Стал он очень слабым; когда Вера приходила его навещать, в который раз принимался рассказывать об операции, показывал плохо затягивающиеся раны и душераздирающе кашлял. Говорил он теперь слабым сиплым голосом, таким непохожим на прежний его, мягкий и гибкий, бас, которым он кого угодно мог в чем угодно убедить... Шею оборачивал теплым шарфом даже летом, да и то сказать, невелика краса – этот ужасный сине-багровый шрам, неохота даже и близким людям демонстрировать... Каждый раз заводил разговор о матери, якобы собираясь поведать Вере о ней что-то «по-настоящему страшное», но та решительно пресекала все эти ненужные воспоминания – зачем? Он только растревлял душу себе и ей.

– Поверь, Веруня, – говорил он. – Это воплощение зла в женской оболочке... Ревность ее тут ни при чем!

– Дядь Миш, – перебивала она, как обычно одержимая установлением справедливости, – но ведь с Анютой ты действительно крутил?

– Никогда не употребляй этого пошлого слова, когда говоришь об отношениях мужчины и женщины, – строго сипел он и заходил в кашле.

В конце концов Вера осторожно помогала ему выпрастаться из гамака и, совсем расклеившегося, заводила во флигелек, обняв за талию и зажав его палку под мышкой, как щеголь – свою трость... А Клара Нухимовна уже спешила через двор с дымящейся кастрюлькой: кашка вот, пока тепленькая... Или супец овощной...

Вера перевелась в вечернюю школу и устроилась работать на обувную фабрику.

Это и была одна ее жизнь, несложная – восемь часов у конвейера. Стой и орудуй круглой чистильной щеткой, очищай сапоги от клея. В первый день мастер Кириллваныч – говорливый человек с бегущим от многолетнего конвейера перед глазами взглядом, учил Веру:

– Механика простая, цыпа. Вот он плывет, да? Ты его щеткой – р-раз! – с одной стороны, – и вся любовь. С другой стороны – р-раз! – и титька набок!

Молочная пленка клея на сапоге скатывалась в крохотную трубочку и медленно слетала на ленту конвейера, на пол. Кириллваныч однообразно двигал щеткой движением церемониймейстера полкового оркестра, поднимающего и опускающего жезл в ритме марша, весело повторяя: – Р-раз – и вся любовь! Р-раз – и титька набок!.. Держи, цыпа!

У Веры получалось хорошо, ловко. Только прицепилась дурацкая присказка Кириллваныча. Она орудовала щеткой и мысленно повторяла: «Р-раз – и вся любовь! Р-раз – и титька набок!» Прицепилась, ну что ты станешь делать! Вера злилась, пыталась вспомнить какую-нибудь песню, чтобы напевать ее про себя, но, как ни странно, именно эта пошлая припевка налаживала нужный ритм работы.

С утра лента конвейера, казалось, шла медленно. И сапог щеткой обмахнуть успеешь, и по сторонам глянуть – что где творится. К обеду руки наливались тяжестью, уже не до разговоров было, успевай только хватать плывущий прямо на тебя сапог и провести по нему щеткой, и уже не казалось, что конвейер движется медленно. А к концу смены ломило спину, шею, затылок, затекали ноги, и в глазах появлялось бледное мельтешение от сапог, словно досыта насмотрелась выступления ансамбля песни и пляски.

В обеденный перерыв шли в столовую, а кто с собой приносил – обедал тут же, в цеху. Кириллваныч доставал и разворачивал газетный сверток, ногтем счищал с вареной картофелины отпечатки передовицы или фельетона, посыпал крупной солью огурец, надкусывал с хрустом и говорил, кивая в сторону мутного окна, за которым по кирпичной дорожке шли в столовую рабочие:

– Ихний харч в зубу застриёт!

Ел с аппетитом свои нехитрые продукты, заготовленные с вечера, иногда даже любовался каким-нибудь атласным «юсупов-ским» помидором, с курьезно и неприлично торчащим из сердцевинки клювиком, поднимал его повыше, говорил:

– На бесптичье и жопа – соловей!

Вера чаще всего не обедала – не хотелось. В то время ела она плохо, много думала, вглядывалась во всех странным своим, неотрывным взглядом. Со всеми чувствовала себя наблюдателем. Будто смотрит на людей издали, в бинокль, и по-всякому может увидеть – может крупно, вблизи, так что видны будут вертикальная складка между бровями и красное родимое пятно в проплешине, на темени... А может охватить человека дальней цельной панорамой, так что виден лишь силуэт и различима только походка – внаклон, вот как курица ищет просо в пыли. Но зато человеческая фигура вписана в пространство так, что глаз не разделяет вещества, из которого создано живое и неживое, вернее, все в этом пространстве, сотканном ее взглядом, делается живым, шевелящимся, теплым...

Уже тогда ее мучили лица. Однажды увиденное лицо – не каждое, а лишь то, которое просило воплощения в другую жизнь, – не оставляло ее никогда, вдруг всплывало во сне или за работой, и она мысленно – как слепой легкими беглыми пальцами – ощупывала лепку этого лица, его строй, конструкцию, настроение и цвет... Вряд ли кому она могла бы это объяснить...

Рисовать на людях стеснялась, но дома, поздними вечерами, карандашом или тушью набрасывала накопленное за день – выбрасывала, сбрасывала его в шестикопеечные учебные альбомы. И тогда появлялись на бумаге острые глазки на сухом личике Кириллваныча; вечно озабоченное, все какое-то кустистое, бульдожье – брови торчат, усы торчат, даже из бородавки на лбу куст растет – лицо начальника смены Семенова. Чаще всего, уже привычно, рука рисовала круглую, с носиком-кнопкой, плутовскую физиономию Лепёшки. «Лепёшка» – это прозвище. Может, из-за широкого затылка, приплюснутого от долгого младенческого лежания в бешике – колыбели. А вообще – узбекский парнишка, Арип, Арипчик. Фамилия – Хлебушкин. Он детдомовский, а их директор Антонина Ивановна Хлебуш-

кина всем сиротам свою фамилию давала. Лепёшка хорошо говорит по-русски. Маленький – Вере до плеча, – но страшно самостоятельный, веселый и умеющий добывать из происходящей вокруг жизни самую разнообразную пользу: выпрашивал у обедавших бутылки из-под кефира и минералки, сдавал; выпросил однажды у учетчицы Зухры старые ее босоножки, со сломанным каблуком, обломал второй и явился в них – с видом именинника. В столовую прибегал последним, хватал стакан прозрачного кислого компота с плавающими в нем лохматыми ошметками лимона, а с тарелок на столах – куски недоеденного хлеба; уминал за обе щеки, плутовски подмигивая поварихам, за что получал иногда со дна огромной кастрюли серую общепитовскую котлету. Вера про себя называла его «Маленький Мук». Неунывающий Маленький Мук.

Лет через пять она поймет, как избавляться от мучающих ее лиц, и будет вставлять их в картины; помимо воли, они определяют некоторую конкретность раннего ее стиля... – и эти, одухотворенные ею, двойники давно уже посторонних, чужих людей заживут причудливой жизнью; придуманной, но, может, более наполненной – мыслью, чувством, – чем обыденная их жизнь. И первая ее, отмеченная на весенней выставке молодых художников, картина – «Танцы в ОДО» – помимо неуловимо и необъяснимо звучащей музыки, являла публике все эти лица, выглядывающие из-за плеча, повернутые в профиль, с закушенной в зубах сигаретой, оскаленные в азартном усилии выделывания коленца.

... Даже приплюснутый затылок Лепёшки, Маленького Мука, прилипшего к материнскому бюсту рыжей кондукторши трамвая № 2, – все это крутилось и вихрилось под звездным небом на небольшом холсте – 65х40, – заставляя зрителей снова возвращаться к картине, неудачно висевшей в темной нише в углу зала.

После занятий в «вечерке» разболтанный визгливый трамвай с рваной, словно проеденной мышами, резиной на складнях дверей привозил ее домой, в другую жизнь – всегда неожиданную.

То дверь ей открывал незнакомый человек, смотрел вежливо и недоуменно, а из комнаты кричал Стасик своим прокуренным шершавым баритоном:

– Это Верка? Верка явилась наконец-то? Перезнакомьтесь там сами как-нибудь! Боб, ты надел Веркины тапочки. Верни... – и кому-то в комнате на подхваченной интонации, – ...а ты перечитай «Смерть Ивана Ильича», помнишь, с чего начинается действие?...

... Чаще открывал сам Стасик, хотя Вера заранее доставала из кармана ключ, но Стасик умудрялся слышать ее шаги еще на первом этаже – слух у него был поразительный, собачий, – и чуть ли не мгновенно оказывался у дверей на своих костылях.

– Наконец-то! Где ты бродишь? Не переобувайся, мы уходим. В «Публичке» лекция о западно-европейской музыке конца XIX века. Элла заходила, она сегодня играет.

И они лихорадочно собирались; разыскивалась в недрах шифоньера чистая рубашка Стасика, молниеносно отчищался щеткой пиджак, завязывался галстук («Верка, галстук к моей физиономии, что фрески Рафаэля в конюшне совхоза „Серп и молот“») и быстро – как ковбойский конь копытами – перестукивали ступени костыли.

Иногда в дверях она находила записку: «Вера! Живо в Дом знаний! Сегодня выступает Юлий Ким!»

Вблизи Стасика жизнь была толкова, горяча и наполнена оздоравливающим смыслом.

Впрочем, все это она сформулировала для себя потом, много лет спустя, и тоже в неожиданном, оздоравливающем месте: в Карловых Варах, куда пригласил ее погостевать на пустой вилле владелец одной из пражских

галерей, где году в восемьдесят девятом проходила ее выставка. И вот там, сидя рано утром в центральном павильоне, вблизи самого мощного источника, бьющего гигантской струей в потолок и распространяющего вокруг себя волны горячего озона, она вновь думала о Стасике, в который раз ощущая его присутствие так близко, что не хотелось уходить, словно, просидев тут еще с полчаса, можно было дожждаться его наконец, спустя столько лет...

...Впоследствии Вера удивилась бы, если б кто-то назвал Стасика калекой. А в эту вялую длинную осень, когда она осталась одна, жила тихо и медленно, вровень с вечерними сумерками, – она не удивилась. Раз на костылях – значит, калека. Вообще-то ей и в голову не приходило сдать комнату – все-таки на фабрике получалось рублей шестьдесят в месяц, деньги хорошие, особенно для первых заработков шестнадцатилетней девчонки. Одной хватало.

А тут как-то вечером постучалась соседка Фая, – смуглая и верткая, как угорь, – втокнула Веру в прихожую, сама вошла, оглянувшись, притворила дверь и заговорила быстрым шепотом:

– Верка, жизнь-та какая пошла! Дороговизны-та какая! Сегодня на базаре пятнадцать рублей оставила, а спроси, что купила?

– Денег, что ли, одолжить? – спросила Вера, ничего не понимая.

– При чем одолжить! – обиделась Фая. – Одолжить не к тебе пойду, ты сама бедная. Я с хорошим делом: на квартиру человека непустишь?

– А почему шепотом? – недоумевающая, спросила Вера.

– Ты дура совсем, да? Зачем разглашать? Чтобы эта сука Когтева из шестой квартиры бумаги в ЖЭК писала? Скажешь – брат из Янгиюля приехал... Да ты не бойся, он калека, на костылях. Приставать не будет.

– А зачем мне все это?

Месяца три уже Вера жила одна, боясь поверить, что этот покой и простор – надолго, на целых пять лет; что мать не заявится, как обычно, после своих коммерческих экспедиций – с привычными угрозами, бранью, погоняловкой и мордобоем...

Вечерами она часто пропускала занятия в школе, могла часами лежать на диване, не зажигая света, перебирая лица, увиденные за день, за неделю, за эту осень. Размышлять о матери, о дяде Мише.

Сдать кому бы то ни было комнату, значило – впустить неизвестного человека в медленные текущие вечера при свете уличного фонаря за окном; значило добровольно разрушить возведенные вокруг себя высокие светлые стены.

Она и потом будет так же вынашивать картины – сначала бесцельно кружа по дому, машинально касаясь рукой предметов, пробуя поверхность на ощупь, словно бы знакомясь с неведомым веществом мира, незнакомым составом глины... Наконец ложилась, заваливалась, как медведь в берлогу, закукливалась, как бабочка в коконе. Иногда, перед началом большой работы, лежала так, замерев, без еды, целые сутки... Как бы дремала... Если муж спрашивал ее: «Ты спишь?», – отвечала, не шевелясь, не открывая глаз: «Нет... работаю...»

А наутро взлетала – легкая, еще больше похудевшая, – принималась натягивать холст на подрамник.

– А двадцать рублей тебе валяются каждый месяц? – спросила Фая.

– На фиг, – кратко ответила девочка.

– Слушай, больного человека совсем не жалко, да? На костылях, калека... Из хорошей семьи человек, моей подруги племянник. Думаешь, безродный какой-нибудь? У них с отцом в Янгиюле домина в шесть комнат. А отец – ветеринар такой, что к нему со всех совхозов подарки возят на грузовиках. Грузовик дынь! – клянусь, сама видала, Цой послал, председатель колхоза «Политотдел». Герман Алексеич, он немец высланный, вдовец, культурный человек. И сын такой хороший мальчик, да вот, беда с ногами, с детства. Ему трудно в институт с Янгиюля добираться. Каждый день туда-сюда автобус, на костылях, а? Да еще эту возить – ящик этот, с красками...

– Этюдник? – встрепелась Вера. – Он художник?

– Ну, а я что тебе говорю! – обрадовалась та. По всей видимости, она вовсе не рассчитывала на этот козырь, и за козырь его не держала, хоть и знала, что Вера рисует: карандашный набросок – вихрастая головка ее младшенького, Рашидика, – красовался у Фаи в кухне. – Он и тебя научит что-нибудь, а?

7

Художник-калека оказался здоровенным, былинно-русой красоты парнем, добрым молодцем из сказки, только роль борзого коня исполняли костыли – обжитые, обихоженные, с перемычками для ухвата, отполированными его мощными ладонями до блеска.

Стасик переболел полиомиелитом в детстве, так что отсутствие ног, вернее бестолковое их присутствие, его нисколько не смущало.

Он сразу заполнил всю квартиру – своим голосом, прокуренным шершавым баритоном, своими ящиками с краской, углем, сангиной; костылями, которыми владел виртуозно, и поэтому мог делать все без посторонней помощи, да так ловко, что куда там Вере. Впрочем, по истоптанному домашнему маршруту он способен был проковылять и так, в подмогу себе привлекая то спинку стула, то косяк двери, то близкую стенку.

Костыли же оказались совершенно одушевленными, и время от времени Вера натыкалась в разных углах квартиры на эту легкую танцевальную парочку, словно за ночь их туда приводило любопытство.

Она во все глаза глядела на этюдник, свою мечту, – до этого видела такой, дорогуший, в художественном салоне, – на самого Стасика, диковинного человека, которому все было любопытно, все нужно, и все – в охотку.

Он, как и его отец, принадлежал к типу людей, которые дружат с людьми, вещами, живыми существами, погодой и всем, что произрастает вокруг. Любое действие у него превращалось в действие. Перестановка предметов на кухонном столе – в композицию. Стасик знал рецепты самых неожиданных блюд, вроде татарского чак-чака, варил лучший в мире кофе (действительно лучший; даже в Стамбуле, даже на Крите, где ее водили в специальные места – пробовать особенный кофе, она не пила лучшего, чем тот, что варил Стасик на газовой конфорке в их кухне); он особому заваривал зеленый чай, колдуя над нужной температурой воды, – при этом казалось, что старый чайник с надбитым носиком таинственным образом влюблен в его руки и тянется к ним, что пиала сама просится в его большую и удобную ладонь... Он знал, как отчистить старую замишу, осветлить темное серебро, отстирать любое пятно с материи; когда Вера заболела, он за два дня поднимал ее на ноги, заставляя дышать над кастрюлей с кипящим отваром каких-то незапоминаемых трав, безжалостно жестко растирая ей спину (боже, какая ты худющая!) остро пахнувшими и больно жалающими мазями... Сам не болел никогда:

будто детская страшная болезнь, отобравшая у него ноги, истощила отпущенные на его жизнь недомогания.

...В первые дни она еще пыталась отгородиться от него в своей комнате, молча рисовала что-то в альбоме, прислушиваясь к голосу, напевающему, рассуждающему, – Стасик имел обыкновение спорить с невидимым собеседником, и вообще, в отличие от нее, оказался человеком звучащим и жаждущим звуков, самых разных... – хотя ей нестерпимо хотелось посмотреть, как он работает, потрогать тюбики с красками, пощупать щетину кистей.

Она боялась выдать себя, свое острое к нему любопытство.

Но надо было знать Стасика – его просветительскую жажду и его страсть: затаскивать, затягивать в свою душу и свои увлечения всякого, близко расположенного к нему человека.

Сначала он не мог разобраться в этой молчаливой сумрачной девочке. Он не понимал, чем она живет – тряпками вроде не интересовалась, телевизора в доме не было, подружки не приходили, радио не включалось. Вечерами, возвратившись с какой-то обувной фабрики, закрывалась в своей комнате и замирала там, будто засыпала. Ни шороха, ни стука. Бесшумное существо с острыми плечами и внимательными, испытующими глазами. Вот эти глаза и беспокоили Стасика: веки припухшие и мягкие, но серая радужка обведена четким кругом и черным гвоздиком вбит зрачок. Он знал такие взгляды – обращенные в себя и одновременно хищно выхватывающие из окружающего мира для своих каких-то нужд те таинственные блики, тени, чешуйки света, которые наполняют пространство и одушевляют его.

В этой девочке надо было разобраться.

И недели через две он не вытерпел: заложив закладкой страницу в альбоме «Русская живопись второй половины XIX – начала XX века», постучал в дверь Верининой комнаты.

Услышав стук, она закинула под подушку блокнот, в котором третий вечер рисовала римскую казнь: распятого бродягу на обочине Аппиевой дороги, вскочила и молча открыла дверь. Навалившись подмышкой на костыль, Стасик держал перед ее носом раскрытый альбом.

– Это что? Быстро!

– «Бурлаки на Волге», Репин, – недоуменно бормотнула она.

– Так. Это?

– Ну, «Боярыня Морозова», Суриков...

– Хорошо. Это?

– Господи, да «Грачи прилетели», Саврасова... – уже обижаясь, буркнула она. – Ты мне еще плакат «Миру – мир!» загадай.

Он захохотал – сочно, раскатисто, словно в горле жил кто-то самостоятельный и слегка поддатый, и заорал:

– Все ясно! С тобой все ясно, молчальница! Показывай рисунки.

– Какие рисунки? – покраснев, буркнула она.

– Давай-давай, показывай. Нет, но какой я психолог, ядерен корень? Я всё-о сразу просек!

Он плюхнулся на венский стул, отставил к стене костыли и серьезно уже, молча стал рассматривать ее, сваленные перед ним на полу, альбомы, блокноты и отдельные четвертушки ватмана, которые она утаскивала с уроков черчения в вечерней школе. Смотрел долго, то останавливаясь на каком-нибудь листе, то бегло проглядывая подряд несколько, тяжело сопел, словно физически работал, и раздраженно отмахивал свисающую на лоб пепельно-русую прядь.

Сидя на полу, сжав колени ледяными руками, Вера ждала приговора. Сердце напряглось и дрожало, но лицо казалось спокойным и даже скучающим. В том, что Стасик – наивысший суд, она не сомневалась ни минуты.

Наконец он отложил последний альбом, насутился и с минуту разглядывал Веру так, как рассматривают со всех сторон вырезку, размышляя – что лучше из нее приготовить.

– Шутки в сторону, – наконец сказал он. – Дело плохо... – и заметив, как разом побелели скулы девочки: – Ничего не умеешь, ничего не знаешь, а времени осталось с гулькин нос, за полгода нужно подготовиться к училищу.

Вера перевела дыхание. Она ничего не поняла, но ясно было одно – ее помиловали, и жизнь продолжается. Главное же, произнесено слово из заоблачных сфер – широкое и сводчатое, как врата храма.

Она все еще не могла прийти в себя, чувствуя, как толчками бьется освобожденное сердце, а Стасик уже кричал откуда-то из кухни: – Где?! Что-нибудь! Есть что-нибудь в этом доме для натюрморта? – и что-то падало, звякало, стучала дверца буфета.

Наконец, после оголтелых поисков и тарарама, соорудили натюрморт: на табурете расстелили синюю Верину майку, установили горшок из-под засохшего цветка, два яблока и картофелину.

Стасик долго менял местами эти незамысловатые предметы, сопя и приговаривая: «А мы вас вот эдак... нет, балда, тебя мы вот сюда... а тебя во-о-от... сюда!» – Складывал ладонь трубочкой, смотрел в нее, отскакивая назад... Костыль поскрипывал и побряхтывал, как терпеливый и многострадальный старик.

Вера, приоткрыв рот, не отрываясь, смотрела на действия Стасика.

– Завтра воскресенье... вот с утра и начнем, – сказал он наконец.

– Сейчас! – пробовала возразить она... – Только набросаю... контуром.

– Запомни, несчастная: его величество дневной свет! – весело и строго крикнул Стасик. – Раз и на всю жизнь вбей себе это в башку – живописи противопоказано электрическое освещение! Оно искажает цвет. Только дневной божеский свет! – костыль взмыл и ткнулся резиновым наконечником в сторону темного окна, – и никакого кроме... Твое настроение будет зависеть от погоды, привыкай к этому. И еще, – он усмехнулся, – привыкай к одиночеству. Это надолго, на всю жизнь.

– Почему? – тихо удивилась Вера. Удивилась потому, что и раньше об этом догадывалась.

– Потому что, как всякий художник, ты будешь невыносима. Ты и так не сахар, а будет и хуже. Профессия эта не галантная, с годами вырабатывает тяжелый характер... думаешь и говоришь только о своей работе, а это скучно, – кому такая баба нужна, и кто тебя, такую, вытерпит? Это я обязан тебе сказать. Так что выбирай, еще не поздно.

Вера засмеялась с облегчением, и он ее понял. И сам расхохотался:

– Правильно! Поздно...

* * *

К ним приходили как в семью, – дом стал открытый, шумный. Часто вваливалось человек по восемь-десять, большей частью незнакомых, – какие-то художники, журналисты, начитанные и высокомерные девочки-филологички, студенты консерватории, в свободное время связанные с музыкой в основном пятью гитарными аккордами, редактор издательства имени Гафура Гуляма, сам кропающий короткие рассказы и уже издавший тощую, на скрепках, книжку стихов, которую ему никогда не допустили прочесть; зато престарелый неприбранный поэт Адольф Минков читал свои стихи треснутым тенором, пришепетывая и помогая себе мерным отсылающим взмахом руки с сигаретой между средним и указательным пальцем... И еще какие-то оригиналы, заочные воспитанники Брэгга, последователи йоги, кухонные певцы, не чуждые «Баян-ширея»...

Спиртное сопровождало всегда... Несколько честных драк было замято соседями. Да и Стасикин костыль, бывало, точными попаданиями разнимал оленьи бои...

За эти месяцы, как потом вспоминала Вера, было прочитано, вернее проглочено, невероятное количество книг, которые приносились за пазухой, в брюхатой глубине портфелей, являлись в качестве толстой пачки перепечатанных бледных копий. Читать их надо было за ночь, а прятать – в кухне за батареей.

И повсюду в разговорах-посиделках незримо присутствовала «ГеБуха», которую Вера представляла себе вульгарной, поддатой и размалеванной бабой, а оказалась она – правда, гораздо, гораздо позже, – хорошо воспитанным молодым человеком, неплохо, кстати, разбирающимся в живописи, который сначала представился давним знакомым «покойного Станислава», а потом попросил ее объяснить (дело происходило на ежегодной Республиканской выставке) «закодированный смысл» картин некоторых художников.

И Вера, чтоб уже развязаться с этим навсегда, в первый и последний раз в своей жизни грамотно и подробно выдала ему весь богатый материн репертуар. И ее больше не трогали, разве что перестали допускать на выставки... Но и это уже, грех жаловаться, пришлось на закат империи, – дядя Миша во всем оказался прав.

8

Длинный глубокий зал Ташкентской Республиканской библиотеки напоминал протестантский собор – высокие потолки, высокие притолоки массивных резных дверей, высоко расположенные окна.

В церковной тишине за длинными деревянными столами сидели под лампами посетители всех возрастов, бесшумно строчили в тетрадях, перелистывали страницы, разговаривали шепотом. Время от времени в конце зала открывалась высокая и узкая створка двери в служебное помещение, и тогда все головы поворачивались в том направлении: оттуда всегда появлялась Тамара. Ее называли «царица Тамара», и правда, имя очень ей шло. Это была молодая женщина изысканной утомленной красоты, с прекрасной фигурой какой-то особенной стати (помню прогулочный ход дымчатых ног с безупречными стрелками – такие ноги доставали у спекулянтов). Но и черные изящные туфельки на высоких каблуках, и узкая юбка, продуманно и точно открывающая точеные колени как раз там, где глаз хотел остановиться, и медленная раскачка походки не были главным ее козырем. Она всегда почему-то одевалась в черное, и короткие волосы, черным крылом перечеркивающие лицо, когда она медленно наклоняла голову к знакомому за столом и кивала ему на какой-нибудь вопрос, являли ошеломительный контраст с ее миндалевидными, дивного оттенка зелеными глазами. Такого изумрудного оттенка зеленый цвет я видела только у нежно стелющихся по дну неглубокого арыка темных водорослей.

Словом, не было ни одного посетителя библиотеки, ни мужского, ни женского пола, кто не обернулся бы вслед «царице Тамаре» и не проводил ее долгим взглядом, пока она проходила между рядами столов и скрывалась за высокими дверьми служебного входа...

Полагаю, что многие мужчины приходили сюда, чтобы увидеть эту, безупречной красоты, молодую женщину.

Однажды утром мы с соученицей оказались в «Публичке», поскольку должны были готовить совместный исторический доклад, не помню уже на какую именно, – на краеведческую тему. Кажется, доклад должен был стать искуплением очередной моей вины, шлейф которых тянулся за мной вдоль всей школьной жизни до самых выпускных экзаменов... Я всегда была заметной ученицей – в том смысле, что вечно на «заметке».

Мы с подругой устроились за столом в зале каталогов на первом этаже, и в похоронной тишине утреннего пустого зала (до сих пор вижу, как струится пыль в солнечном луче, и за окном безвольно, как белье на веревке, плещется желтая листва тополя), занялись поисками нужных источников.

Скрипнула дверь. Я обернулась и увидела столь занимавшую меня «царицу Тамару»; она села в углу за рабочий стол и погрузилась в какую-то писанину... Быстро бежала по листу ее рука с зажатой в тонких пальцах самопиской.

Минут через пятнадцать в дверях возник молодой человек, по виду мало напоминающий охотника за знаниями. Он огляделся, сразу же направился к столу, за которым сидела библиотекаря, и обратился к ней с неслышным нам вопросом.

И вдруг... Нет, эти кошмарные звуки нельзя было назвать человеческим голосом. Дело было даже не в хрипе порванных от природы связок, а в каком-то дефекте носоглотки, издающей это ужасное гнусавое карканье.

Я испуганно стала озираться в попытке обнаружить источник испугавших меня звуков и, в полном оцепенении, поняла, что издает их «царица Тамара»...

Увидев мое ошеломленное лицо, подруга спокойно спросила: – Ты чего? Чего у тебя такая физия? – проследила глазами направление моего взгляда и протянула:

– А-а... ну, это же Тамарка... Соседка наша...

– Она что... больна? – спросила я.

– Почему больна? Просто, голос такой... от рождения... Ну, и там что-то надо было оперировать в самом детстве, да родители прозевали, а сейчас уже поздно...

– Бедная... – пробормотала я. Моя подруга усмехнулась:

– Кто – бедный? Тамарка? Ты за нее не переживай. У нее знаешь, сколько мужиков? Чуть не каждую неделю новый... Так что давай, отключись от проблемы...

Она сунулась опять искать что-то по ящичкам, а я все ждала, не решаясь повернуть голову в ту сторону, где непринужденно сидела царица Тамара, боясь обнаружить болезненный интерес и сострадание и в то же время испытывая алчное желание услышать еще, еще чуть-чуть этого карканья, этого скрипа ржавых уключин, – чтоб потом наделить им кого-то в новой захватывающей повести, которую писала в толстой тетради, обреченной, – как и остальные тетради, «плоды безделья», – быть выкинутой моей решительной мамой в припадке учительского гнева, помноженного на родительское отчаяние...

* * *

В июле Вера поступила в училище, как провозгласил дядя Миша торжественным слабым голосом – «художества и судьбы!». Они даже опрокинули по рюмке дешевого вина «Ок мусалас» за ее будущую учебу, но с отвычки дядю Мишу немедленно и вырвало, и он, прокашлявшись и выпив чаю, опять попытался завести обличительную беседу о матери, убийце и дьяволице...

– Ну... брось, дядь Миш, не думай о ней! – взмолилась Вера, всегда с паническим суеверием пресекавшая эти разговоры, как дикарь опасается произносить вслух имя злого духа, дабы не вызвать его, не материализовать ненароком грозную сущность. Да и то сказать – сидит себе мать за решеткой, как ей и положено... и можно жить спокойно еще года четыре, если амнистии ей не выйдет... что воду-то переливать? Не вернешь ничего...

И дядя Миша унялся, послушно переменил тему, стал хвалить Стасика, который за полгода подготовил Веру к вступительным... хотя к самому Стасику относился ревниво, черт знает что подозревал и, если выпадали дни, когда чувствовал себя не так уж скверно, то цеплялся, как банный лист, настоящие допросы устраивал: что да когда – жизнь час за часом... Чудак, – словно опасался, что выпадет из ее времени, и тогда кто-нибудь займет его место, – Стасик, например... Она пыталась объяснить ему, что, при всех обстоятельствах будущего, этого уже никогда не произойдет...

Впрочем, в последнее время сил у него на подобные разговоры становилось все меньше...

А Стасик и вправду всего за полгода подготовил ее к экзаменам, да так, что сам Гольдрей, Айзек Аронович, гроза и ужас всех студентов, поставил ей за рисунок высший проходной балл!

Гольдрей был учеником Бродского, отличным живописцем. В начале войны работал в Эрмитаже, помогал переправлять в безопасное место бесценные полотна гениев; «Я видел эти картины без рам! Вся искусствоведческая болтовня о темной палитре Рембрандта – буйда и миф: на сгибах подрамников эти холсты сохранили свои исходные краски – гораздо более светлые, чем сейчас!». Потом эвакуировался с Академией художеств в Самарканд, жил в одной из келий Медресе Улугбека, преподавал в училище Бенькова. И вот тогда его навеки покорила желтый, бирюзовый, охристый свет Азии, ее могучая природная палитра: дробный пурпур разломленных гранатов, багряные кисти винограда, зеленоватое золото бокастых дынь... Кровь сыграла, кровь далеких восточных предков... И больше не вернулся к серому граниту белых ночей.

Был Айзек Аронович человеком ядовитым и одиноким. Никого не щадил:

– Сядьте спокойно, Галя, – это натурщице, – и примите умное выражение лица. Потом можете принять прежнее...

Смешно ходил по комнате, пришаркивая, заглядывал носом, как ворон клювом, то в один этюдник, то в другой. Говорил: «Пишите кистью, лепите форму краской! Творите медленное погружение в лаву цветовых событий, создавайте плотную энергетическую среду!...»

И на целых четыре года заветный адрес на Бешагаче: улица Байнал-Минал, № 2, напротив мясокомбината, – определил бег, темп и смысл ее жизни...

Тот еще запашок сопровождал годы учения в альма-матер. Но он же и закалил обоняние: крутая смесь запахов висела в классе – краски, скипидар, пыльные драпировки, пряная животная вонь из ворот мясокомбината и, как необходимая тонкая компонента, – проникающий в форточку запах буйной дворовой сирени по весне. И никогда больше, в какие бы трупщобы ее ни завела бродячая судьба, Вера не воротила нос от испарений и дымов человеческих тел и жилищ...

– Веруня, – добавил дядя Миша назидательно, – а ты и к Владимиру Кирилловичу сходи... маслом каши не испортишь.

Уж он-то педагог милостью Божьей, не смотри, что судьба в котельную загнала... Помнишь, как тебя хвалил?

Но, закрученная-заверченная новой жизнью, загруженная учебой по макушку, Вера так и не выбралась в котельную, и позже уже не выбралась к Владимиру Кирилловичу никогда, а увиделась с ним только на дяди Мишиных похоронах... Потом уже, в Москве, в Питере, даже в Риме, даже в Веллингтоне, встречала его учеников, слушала восторженные воспоминания... Вот уж точно говорится – судьба не привела. А казалось бы, куда там приводить: сядь на десятый трамвай, протрясись минут тридцать, войди через арку в огромный двор многоквартирного, покоем выстроенного дома, спустись по ступенькам в подвал... и ты на месте!..

Нет, всеми этими тропами ведает кто-то по небесному путевому ведомству, кто и билеты выдает, и сам же их компостирует, – на трамвай ли, до Алайского, в поезда ли, самолеты, в разные страны, во встречи-расставания...

* * *

Однажды она открыла, что у Стасика есть знакомые, которых он в дом не приводит...

Часто, если совпадали по времени, они договаривались встретиться после занятий на Сквере, у памятника голове лохматого Карлы, и шли куда-нибудь шляться. Летом катались на лодке по Комсомольскому озеру. Стасик сбрасывал рубашку и садился на весла, а она сидела напротив и, чертыхаясь от раскачиваний, все же быстро и точно набрасывала его великолепный торс, широкий разлет грудных мышц, красиво развернутые плечи и крупную голову с густой копной русых волос.

Денег в то время у них было навалом: две стипендии, да детсадовский подработок на «мишках-мышках». Началось все со случайной копеечной халтуры: разрисовать сказочными персонажами стенку летнего павильона в ближайшем детсаду. Но мишки и мышки, которых они со Стасиком от души наваяли в четыре руки за субботу-воскресенье, настолько пленили воображение и детей, и, главное, воспитателей, что их дружную бригаду стали передавать из садика в садик, платили исправно, да еще и подкармливали манной кашей и казенным борщом.

Запросы у обоих были мизерные: сырки «Дружба», пирожки с требухой по пять копеек (их каждый день часам к пяти вывозили на тележке к воротам мясокомбината) да лепешка с маслом, особенно если подсушить ее в духовке... Ну, если совсем уж разгуляться с гонорара за «мишек-мышек», то и пива пару бутылок...

За первый год в училище Вера вытянулась и повзрослела так, что это заметил даже Герман Алексеевич, когда весной они вдвоем навещали его в Янгиюле.

– Стас, а Вера-то тебя переросла!

– Где, где? Еще чего не хватало! – возмущенно крикнул тот. – А ну, поди сюда, Верка!

Они встали рядом, лбами друг в дружку... Смешно касались носами... Так близко были его губы...

– Сантиметра на два... – сказал Герман Алексеевич...

И Стасик очень смешно обиделся, и дулся на нее весь вечер, пока пили в беседке чай с оладьями и айвовым вареньем.

Вокруг лампочки над столом шуршали глухие баталии ночных бабочек, две приняли мучительную смерть в глубокой миске, в прозрачном и нежном озерце варенья, где плавали золотые, в электрическом сиянии, дольки плодов...

Никогда позже Вера не будет настолько чувствовать себя хозяйкой судьбы, как в те вольные, шумные и счастливые три года, когда мать держали взаперти, дядя Миша худо-бедно еще жил в земной оболочке, а они со Стасиком были – семья.

И никто бы не поверил, что два юных, взрывных и своенравных существа почти все это время прожили в одной квартире на расстоянии братской близости друг от друга. Да Вера потом и сама не могла этого понять и простить себе. А у Стасика понять и оплакать это совсем уже не оставалось времени...

Так вот, однажды она обнаружила, что у него есть неизвестные ей знакомые...

Они шли вдвоем через Сквер, и он все время озирался в поисках телефонной будки. Дважды уже попадались с испорченными автоматами, – Стасик явно бесился и на вопросы огрызался. Наконец в третьей будке телефон оказался действующим; он вошел, сложил костыли парочкой, оперся сразу на оба, накрутил диск и минут пять говорил с кем-то странным тесным тоном, каким разговаривал, если злился на Веру или не хотел высказываться. Но

особенно странным было то, что на том конце провода его... – Вера близко стояла и доверчиво наблюдала этот разговор... – вроде как передразнивали: кто-то каркал, скрипел... явно издевался... А Стасик, вместо того чтобы отбрить наглеца как полагается, повесить трубку, плюнуть... отвечал терпеливо и всерьез... Да еще нервно постукивал ребром «двушки» по железной полочке.

– А что, завтра не получится?... – говорил он... – Тогда послезавтра, где обычно... я все устрою... Он даст ключ...

И в ответ опять его так же скрипуче-гнусаво передразнили...

– Кто это был? – удивленно спросила Вера, когда Стасик вышел из будки.

– Одна знакомая... Ты не знаешь...

– Это – девушка? Какой у нее...

– Да... – поколебавшись, сказал он... – необычный голос... большие связки и... особенность строения носоглотки.

– А почему ты ее никогда не приводил к нам?

– Зачем? Она... из другой оперы...

– Еще бы, – согласилась Вера, приотстав от него на полшага и ощущая непонятную духоту в области диафрагмы... – такое чудное сопрано...

– Зверек! – удивленно проговорил он, обернувшись и легонько съездив лапой по ее запущенной, «дикой», как говорил он, стрижке. – Тебя эти темы никак не должны касаться!

– Значит... – сказала она, задыхаясь, – значит... когда ты сказал, что едешь в пятницу к отцу в Янгиюль... ты...

– Не твое дело, – сухо оборвал он.

– Ты... ты – мне – врал?! – и растерянно остановилась, ничего не понимая... – Зачем?!

– Не твое дело! – крикнул он раздраженно.

Тогда она резко развернулась и пошла в противоположную сторону, безжалостно быстро, чтобы он не смог догнать. Он орал вслед сначала что-то насмешливое, потом сердитое, приказным тоном... Она не остановилась: нашел себе ручного зверька!..

И только когда на следующий день, взъерошенный и взбешенный, с бессонными тенями под глазами, он разыскал ее у дяди Миши во времянке и выволлок, чуть ли не насильно, во двор, она с горьким удовлетворением позволила увести себя домой.

Так она потрясенно для себя открыла, что любит его. Вернее это была череда болезненных открытий: оказывается, он был мужчиной, а не просто Стасиком, у него была женщина, красавица с мерзким голосом мультипликационной вороны, он уходил к ней время от времени на ночь, и – что совершенно парализовало Веру, – она ощутила, что, оказывается, страшно, до спазмов в горле, ревнует его... И последнее, чудовищное открытие: она поняла, что, оказывается, может запросто убить ту, другую (видела ее в библиотеке и была сражена красотой и статью этого нетопыря в женском обличье), – и даже знала как: вот как мать зарезала дядю Мишу, – крепко сжав рукоятку ножа, с сильным замахом погрузить его в яремную ямку... (несколько раз перед сном она мысленно целилась и попадала, но для этого надо левой рукой сильно отогнуть назад голову той)...

Выходит, она могла, оказывается, стать такой, как мать. А этого уже никак нельзя было допустить! Нет, нельзя! Главное для Веры было – не стать такой. А вот какой ей стать – она еще не знала...

* * *

...Приблизительно в это же время появился и Лёня, привел его не то Сенька Плоткин, не то Саша Стрижевский, не то поэт Минков. Праздновали день рождения Стасика. Народу

набилось в тот вечер полон дом, кто-то пек в духовке картошку и резал сыр, группка курила на балконе, пугая соседей выкриками:

– Ты полистай Бердяева хотя б для хохмы, старик!

Стасик показывал какому-то долговязому свой последний пейзаж. Долговязый рассеянно щурил близорукие глаза за стеклами очков и помалкивал.

Он вообще помалкивал весь вечер. Вера забрела на кухню, где чернявая Сенькина подруга Марина пасла в духовке целое стадо рыжих картофелин, и спросила у нее:

– Такой высокий, глаза добрые – это кто?

– Лёня-то? – отозвалась Марина, отдернув руку от горячей картофелины. – Да это же Волошин, его все знают... Мать у него профессор, ухо-горло-нос, завотделением в 16-й горбольнице... Он всех-всех знает!

– Зачем? – не поняла Вера.

– Ну, такой человек-коммутатор, всех между собой перезнакамливает...

– Странная профессия... – удивилась Вера. Маринка рассмеялась и сказала:

– Да нет, это не профессия, он в «ящике» служит, не помню точно – где... что-то с ядерной физикой...

Долговязый мелькал еще раза два-три за тот год: подошел к ним на выставке Файзуллы Насырова, постоял рядом минут пять, внимательно слушая баритон Стасика, и непонятно было – согласен он с ним или нет...

Еще как-то столкнулись в продуктовом магазине; Вера кивнула ему, он запоздало и удивленно ответил, назвав ее «сударыней». Здравствуйте, сударыня...

Вовсе не показался Вере человеком-коммутатором. Была в нем какая-то церемонность, принадлежность к иному, не знакомому Вере, кругу... И сдержанная взрослость, погруженность в себя – чего совсем не было в Стасике.

Иногда она просила его «постоять чуток» – позировать, чего он не любил, – совсем не мог пребывать в неподвижности, словно каждую минуту старался наперед взять реванш у своей болезни, – но под ее мольбами сдавался, раздевался до пояса и, опершись на костыль, как гребец на весло, с мученическим выражением лица ждал, когда она завершит набросок. Для нее же эти сеансы таили неизъяснимые попытки проникнуть в заросли детских своих видений...

...Долгое время Вера считала это сном.

Впрочем, это и было сном, довольно часто повторяющимся: высокая, как заросли, – выше человека – трава, рядами растущая на покатом склоне холма, и голый, с одной только желтой повязкой на голове, всадник въезжает в высокие эти заросли, и волнами, зелеными волнами пробирается внутри до кромки поля... А там разворачивает коня, и вот уж желтая косынка бороздит поле в обратном направлении... И с каждым новым заездом все быстрее и быстрее скачет конь, и все громче покрикивает, все веселее хохочет всадник... А солнце, которое только что стояло высоко-высоко в небе, над белоснежным пиком главной, выгнутой парусом, горы, уже катится вниз багровым шаром, выплескивая алый марганцевый свет на небо и вершины гор.

И носится, как безумный, носится всадник, волнистой дорогой расходится высокое поле, блестит его потное, как лезвие ножа, тело, с каждым нырком в зеленое озеро приобретая зеленоватый, все более плотный цвет, и ходуном ходят бока черного, с прозеленью, коня... Все выше и тоньше звенит над горами крик, и маленькая Верка, не

выдержав, выбегает навстречу всаднику... Ее распирает восторг, она кричит, размахивая руками, бежит к нему... Мать хватает ее, пытаясь зажать рот, крепко перехватив поперек живота... Но темно-зеленый всадник... – а это же дядя Садык, и желтая косынка на его голове – это материна косынка! – мчится прямо на них на огромном черном, с прозеленью, коне, и вот уже вплотную надвигается громада человека-коня, он наклоняется, выхватывает Верку из материнских рук и крепко целует девочку. Станный резкий запах идет от него – смолистый, густой, веселый, ошеломительный запах-дурман. Верка валится к матери на руки, и сразу же вслед за этим наступает ночь...

... Однажды в альбоме у Стасика она увидела репродукцию известной фрески Делакруа «Орфей, обучающий греков мирным искусствам», того ее фрагмента, где человек-конь раскинул руки, опершись на положенный на плечи лук... Она застыла над репродукцией, и весь вечер пребывала в сильном возбуждении, пытаясь вспомнить – где видела это благородное существо в слепящих лучах закатного солнца. И наконец вспомнила, и горный вечер в багровом полыхании заката пахнул на нее сливным запахом полыни, мяты, мелиссы и базилика... и еще одного, терпкого смолистого запаха, стоящего над полем и обнимающего всадника с конем...

– Над чем ты тут зависла? – спросил Стасик, склонившись над ее плечом.

Она помолчала, подняла на него глаза и тихо проговорила: «... а я видела тоже...»

– Что?

Она погладила мелованный лист репродукции и сказала: «Вот, его...»

– Кентавра? – с серьезным любопытством в глазах спросил Стасик. – Где?

– В горах... – пробормотала она, – ты не знаешь... неважно...

Он взъерошил ее короткие волосы, проговорил, улыбаясь:

– Верка! Правильно! Вот это и должно стать твоей манерой!

– Что? – удивилась она. Не поняла – что он хочет этим сказать... И, главное, уже тогда ей не нравилось, что он играет с ней, как с мальчиком-подростком.

– А вот этот... легкий налет безумия... – разъяснил он весело.

** * **

...И ведь это была ее первая победа! Первая победа – и над собой, и над ним, и над вызывающей красотой вороны-воровки с глазами цвета водорослей...

Главное же, это была победа над его костылями, ибо с той минуты, когда она стала всадницей и они обоюдослиянным кентавром неслись по зеленому полю ее детского сна... костыли его просто перестали существовать, их больше не было, как и потом, в картинах, где Стасик всегда присутствовал совершенно здоровым, даже если мелькал в какой-нибудь маске, на заднем плане, полубоком, спиной...

Почему же это воспоминание неизменно сжимало ее сердце? И по странной ассоциации, стоило увидеть ей в кадрах спортивных новостей какого-нибудь пловца, вздымающего победным жестом руки над бортиком бассейна, перед ее глазами возникал Стасик – с мокрыми волосами, с распахнутой грудью, совершенно смятенный...

* * *

...Он мылся, запершись в ванной. Как обычно, горланил с комическим надрывом:
– Сме-е-ейся пая-а-а-ац!

Вера читала и морщилась. Отучить его орать в ванной оперные арии было невозможно, докричаться сквозь шум воды – тоже. Оставалось только ждать и терпеливо выслушивать надрывно-комические вопли.

Судя по всему, сегодня он опять не вернется домой, до утра останется у той, красивой, с мерзким голосом... В такие вечера Вера садилась в кресло с книжкой и принимала глухую оборону – едва отвечала на его вопросы, изображала острое увлечение сюжетом, редко переворачивая страницы. Молча поднимала брови, когда из коридора он кричал что-нибудь шутивно-прощальное.

Вдруг грохнуло в ванной, покатилося... – жестяная кружка, в которой стояли зубные щетки и расчески. Пение оборвалось. Вера прислушалась... вскочила и бросилась в коридор:

– Стасик! В чем дело? – тревожно крикнула она.

Он не отозвался. Ничего нельзя было услышать сквозь шум льющейся воды.

Она стучала кулаком в дверь:

– Стасик! Стасик! Ты меня слышишь?! Что случилось?

Он не отзывался. Упал, поняла она, уронил костыль! не может до него дотянуться! ударился головой... потерял сознание!.. Захлебнулся?!!

Обезумев от ужаса, навалилась на запертую дверь, заколотила в нее, заорала. Колотила и колотила, бросалась на дверь дикой овчаркой – плечом, спиной, выла, визжала...

Вдруг он открыл – бледный, совершенно мокрый, в наброшенном на тело халате. Вода струилась по лицу и волосам... Значит, все-таки дотянулся до костылей. Вера зарыдала и бросилась к нему, обхватила обеими руками. С его волос вода лилась на ее лицо.

– Ты что, дура, спятила? – спросил он. – Я ей кричу, а она дверь ломает.

– Я... я... не слышала... я испугалась, что ты упал... умер... – дрожа, задыхаясь, вцепившись в него, бормотала она.

Он сердито обнял ее, чмокнул в макушку. – Перестань трястись... Ну грохнулся, подумаешь!.. Хватит реветь, дура, – со мной никогда ничего не случится... Ну... довольно уже! Иди... я оденусь...

Но она по-прежнему, упрямо, как ребенок, обхватив обеими руками, не выпускала его из тесного закутка между ванной и раковиной, притиснувшись щекой к его груди, словно пыталась непосредственно из сердца расслышать ответ, который ждала. Дрожала странной, неостановимой дрожью... И оба молчали...

– ...Ну? – наконец выговорил он, обеими ладонями пытаясь отклонить ее голову. – Я же опоздаю, дурочка...

Тогда она выпрямилась, прямо взглянула в его смятенное мокрое лицо...

– Не пущу!.. – глухо сказала она, чувствуя, как учащенно бьется и его сердце тоже... – Не пущу... к ней... Никогда больше! – и медленно, обеими ладонями раздвинув – как занавес – халат на его груди, пробормотала в его, уже ищущие, губы:

– Кентавр...

... И всю жизнь потом для нее наиболее притягательным в мужчине были плечи и мощный разлет мышц груди (два коротких, бесцветных романа с натурщиками: красота торса попутала, кентавр поманил с вершины холма и исчез... – Стасик, Стасик!..), словно верхняя, духовная половина тела даже в плотской любви была для нее важнее остального... Словно

*образ кентавра только и мог возбудить, взбаламутить глубинный ветер,
уносящий ее в поле дурмана.*

* * *

Появился долговязый после смерти Стасика. Буквально недели через три.

– Здравствуйте, Вера. Вы меня, наверное, не помните, я приходил к вам... Я – Леонид Волошин... – и, в замешательстве, видя, что Вера молча стоит в дверях, не приглашая: – Я только сегодня вернулся из командировки, а мы договаривались со Стасом... Он дома?

Вера и прежде-то была немногословна, а после этой смерти совсем замолчала, онемела. Она вообще замолчала – внутренне умолкла. В те дни казалось – навсегда.

– Мне бы повидать его...

Он глядел своими чуть выпуклыми глазами за стеклами очков в большой роговой оправе и ждал ответа. Вера разлепила губы и шевельнула ими.

Он подался к ней, наклонился:

– Простите?

– Стасик погиб. – Сухо и тихо повторила она, как отвечала всей этой орде, которая хлынула на нее и отхлынула, наткнувшись на бесслезное молчание.

Он не отпрянул, не ахнул, не вскрикнул, не стал забрасывать вопросами, вытягивать подробности, не цокал языком, не качал головой. Так и стоял, в полнаклона, вглядываясь в ее лицо. Смотрел с минуту, потом спросил:

– Вы остались одна?

Она пожала плечами. Он прошел мимо нее в квартиру, походил по комнате, мельком оглядывая работы Стасика на стенах. Потом обернулся к Вере:

– На что вы живете, Вера, извините за бестактность? Вам деньги не нужны?

Она мотнула головой и нахмурилась, потому что вдруг ощутила, как запнулось дыхание и сдавило что-то в горле, и на глаза набежала влага.

Сглотнула и, опустив голову, хмурясь и сосредоточенно расстегивая и застегивая рукав рубашки, впервые торопливо и тихо стала рассказывать о смерти Стасика.

Он попал под машину, опаздывал на зачет по истории искусства. Знаете, тот поворот с проспекта Ленина на улицу Германа Лопатина? В акте написано: «Перебегал дорогу в неполюженном месте».

– Перебегал? – повторил Лёня, недоуменно подняв брови.

– Да, «перебегал»...

Так, в милицейском отчете, Стасик восторжествовал над своими костылями после смерти.

* * *

...Длинная дорога на загородном автобусе в Янгюль – куда она ехала «сообщить», потому что невыносимо было представить безмолвно вопящий листок телеграммы в руках его отца (казалось, если – сама, словами, голосом – будет много легче. Пустое, конечно...) – так и осталась самой длинной и самой страшной дорогой в ее жизни.

Через верхние синие стекла полуразбитого автобуса на сиденья било прямое солнце, а небо казалось открыточно, вульгарно синим.

На заднем сиденье трясся веселенький пьяный. Время от времени он доставал из кармана залитых пивом и пропахших мочой штанов пластмассовую свистульку и рассыпал трели, вытарачивая мутные глаза и раздувая колючие щеки. Пассажиры посмеивались с

благодушным презрением. Только старик узбек напротив Веры – красивый, белобородый, – молча посматривал на пьяненького свистуна, и во взгляде его читалось столько брезгливой горечи, столько врожденного благородства, столько обиды за унижающего себя и униженного соплеменника, столько холодной гордости... – Вера глядела на его прекрасное лицо и в этой тряске, столь созвучной отупляющей, душевной ее боли, даже отчета себе не отдавала, что жадно запоминает – как подергивается седая косматая бровь, как взгляд он переводит плавно от окна на пассажиров.

Выцветший поясной платок был обвязан вокруг тубетейки. А на синем ватном чапане кто-то любовно нашел две аккуратные заплатки: голубую – на рукаве и бирюзовую – под мышкой.

От станции она очень долго шла до дома Германа Алексеевича – сделала круг через базарчик, где инвалид, сидя на спиленном бревне, раздирал баян, выпевая пьяным и плачущим голосом: «Разве ты, разве ты-и-и... разве ты винова-а-ата, что к седому виску-у-у я приставил нага-а-ан»...

У калитки стояла минут пять, и любое движение собственной поднявшейся руки отзывалось внутри ледяным ожогом. Потом решила: толкнула калитку и ступила во двор, в ласковые мятущиеся блики солнца на желтом кирпиче вымытой с вечера дорожки.

На пустом айване в центре беседки, на расстеленных курпачах, лежала газета, на газете – очки Германа Алексеевича. Из дома в глубине огромного двора доносились голоса, – значит, в гостях здесь самаркандская племянница с дочкой; где-то в комнатах тьякала Клеопатра, и своим проклятым бессознательным зрением, алчно заглатывающим детали, Вера углядела, что дверь с террасы была распахнута, и клином между нею и косяком торчал детский тапочек.

– Вера? Ты что, одна? А художник где? – спросил вдруг Герман Алексеевич сверху. Она вздрогнула и подняла глаза: старик сидел на верху деревянной лестницы, прислоненной к опорам беседки, – в сетчатой майке, в синих бриджах, с садовыми ножницами в руках.

– Не заболел, случаем?

Она стояла, с запрокинутой головой, белая от навалившегося на нее ужаса, и молча смотрела на Германа Алексеевича. И это было страшнее, чем там, в морге, ждать, когда откинут простыню со Стасикиного лица. Господи, что там было «опознавать»! – когда она с порога опознала обломки его изувеченного костыля, валявшиеся у стены...

На крыльце морга курили и щурились от солнца два разбитных паренька в белых халатах.

Один рассказывал другому какой-то длинный несмешной анекдот, да еще не мог вспомнить последнюю реплику персонажа, в которой, должно быть, и заключалась соль анекдота, и, напряженно морща лоб, щелкал пальцами, приговаривал: ща-ща-ща... щас вспомню...

И только странный, явно сумасшедший человек, обросший буйной черной бородой, снующий вокруг с ведрами и тряпками, был здесь по-настоящему реален и, как сказал бы Стасик, живописен...

В воздухе этого идиллического дворика, во влажной, дышащей земле, вспоротой нежными побегам трав, в чутко вздрагивающих ветвях, вспухших почками будущей листвы, была разлита набирающая силу весна.

Мысль о том, что Стасика нет, в то время как есть и будут эти чуткие деревья, эта рвущаяся к свету из тела земли трава, просыхающие на солнце дорожки из бурого кирпича, – казалась невероятной; мертвый Стасик и сейчас был для нее в сто раз живее двух пареньков, не замечающих грозного соседства весны и смерти.

...Как могла она надеяться – «смягчить»... чем? голосом? – она онемела... Видом своим – этим запрокинутым помертвелым лицом?

– Вера... – осекшись, выговорил старик. Она молчала. Руки висели плетьюми.

– Он... живой?

Она мотнула головой и выдавила шепотом:

– Поедем...

Тяжело ударились о землю садовые ножницы.

– Помоги сойти, – глухо проговорил старик, лунатически нащупывая перекладину лестницы. Она бросилась, обняла его колени, чуть ли не принимая на себя тяжесть грузного тела, и, когда затряслась и ткнулась подбородком в его грудь, он сказал строго:

– Молчи! Выдь за калитку, жди меня...

Годы спустя, когда на пути в Веллингтон ей пришлось восемь часов куковать на пересадке в Бангкоке, она вспомнила бесконечную дорогу на Янгиюль, и то, как хотелось, чтобы она не кончалась никогда – и мгновенно успокоилась, смирилась: все было легче, чем та дорога. И позже, в Германии, на развод она решилась после одной ночи, которая началась с бессмысленной и вялой ссоры с Дитером, продолжилась бессонницей, а на рассвете – тяжелым забытьем, когда, просыпаясь и засыпая вновь, в третий раз она увидела дорогу на Янгиюль и себя, везущую Герману Алексеевичу смерть сына, – в бесконечной тряске на полуразбитом автобусе, под пронзительную свистульку вонючего алкаша. И сочла это окончательным знаком.

И все же перед разлукой они со Стасиком успели вдохнуть весны и даже сделали по этюду.

За последний год несколько раз уезжали так: мгновенно собравшись, поймав попутку, в незнакомом направлении... И, выбравшись из машины где-нибудь в предгорьях Чимгана, расставляли этюдники и писали до захода солнца, не задумываясь – где заночуют.

Однажды всю ночь просидели за разговором в сторожке егеря, который наткнулся на них, голосующих в темноте на дороге, и привез к себе: Стасика на осле, с костылями поперек колен, Вера же еле поспевала следом с двумя этюдниками, и замаялась так, что мгновенно уснула на расстеленном одеяле, на полу, в углу сторожки...

...В ту, последнюю, вылазку они выбрали удачный вид на расходящийся в глубине горный коридор с несколькими одинокими алычами на склонах. Стасик стоял рядом, тяжело навалиясь подмышкой на костыль, от чего тот уходил резиновым наконечником в мягкую травянистую землю холма, как конь под Ильей Муромцем, и, глядя в небольшой квадрат картона, говорил негромко:

– Утяжелила вот здесь кусок неба с этим кустом... Добавь берлинской синей... А здесь неплохо... Мягче надо сопоставлять желтое с оранжевым, не груби...

Внезапно, как это бывает в горах, началась гроза: дальнейшее гроыхание, которое сначала они приняли за тарахтенье одинокого грузовика внизу на дороге, пухло взорвалось над самым ухом тяжелой звуковой волной, вмиг натянулось густое черное облако, низкое, как похоронный шатер, и так же, как налетевший вихрь срывает с кольев шатер, так и это облако стало носиться над их головами, роняя панические короткие молнии, – картинно, будто и вправду там, верхом на облаке, сидел некто яростный и азартный, натягивал свой лук и целился, и промазывал, и опять натягивал тетиву, и рычал, и бесился, зверея все больше от неудачи.

Пыхнуло в тишине рыже-фиолетовым, и сразу грохнуло и расколосось вдребезги небо, извергая холодные осколки дождя...

Вера заорала от восторга, Стасик обнял ее и набросил свою куртку ей на голову, как на клетку с попугаем, чтобы тот умолк. Но Вера куртку скинула, и жадно смотрела, как в дымном фиолетовом теле тучи преломляются желтым солнечные лучи, как, ежесекундно вспыхивая, сменяют один другого оптические эффекты.

Стояла, вцепившись в локоть Стасика, чувствуя терпкий страх вперемешку с желанием вспыхнуть мгновенно и чисто и развеяться пеплом над горами...

...Потом, когда туча унеслась, подтерев за собой оранжевое от заката, глянцевое небо, они долго стояли, совершенно мокрые, в тающей, шуршащей каплями, тишине, среди густого послегрозового запаха трав, наблюдая, как валится за рошу миндальных деревьев воспаленная миндалина солнца...

Вера обернулась и вдруг увидела выгнутую ледяным парусом, ополоснутую марганцевым уходящим светом, гору, которая прежде была под облачным колпаком...

Она стояла и глядела на этот, взрезавший небо, алый парус ее сна...

– Вон там... – сказала она, указывая рукой, – внизу, на склоне холма... поле с высокими-высокими травами... Помнишь, я говорила тебе?

Стасик удивленно смотрел на лунатическое выражение ее глаз...

– Давно, в детстве... Как сон... Голый всадник на потном коне... въезжал с одного края поля и выезжал на другом, разворачивал коня и снова въезжал, как в море... Волны над головой... Желтый платок на зеленых волнах... – Она морщилась, силясь вытянуть реальность за кончик хоть какой-нибудь приметы. – Или мне снилось?

– Так вот оно что... – медленно проговорил он. – Вот он откуда взялся, твой кентавр...

Обнял, тихо, томительно ощупывая губами ее, влажные от дождя, губы... И долго они стояли так, озябшие, среди мокрой травы, осторожно грея друг друга губами, словно вызывая, продлевая удивленную нежность того вечера, случившегося всего три месяца назад...

– Знаешь, что ты видела? – спросил он, наконец оторвавшись от нее. И в глазах его было то самое, любимое ею, выражение веселого любопытства:

– Охоту за гашишем...

Тем вечером их подобрал на шоссе и пустил переночевать к себе – он жил в соседнем кишлаке, – молодой уйгур на побитом и замызганном «москвиче».

Накормил их пылающей перцем жирной шурпой, выдал целый тюк пахнущих дневным солнцем курпачей, – и всю ночь, на балхане его дома, где на расстеленных мешках вдоль стен пестрым ковром лежали сухофрукты, они неслись обоюдослиянным кентавром, совсем близко к громадным дрожущим звездам, перегоняя какое-нибудь созвездие Стрельца...

* * *

...Все остальное – мерзлое помещение морга, где не раз они оба бывали на занятиях в «анатомичке», – столы, и то, что было на столах... не имело к Стасику никакого отношения.

И позже Вера никогда об этом не вспоминала. Это отпало, отвалилось от нее, как корочка-нарост на зажившей ране. Чем больше месяцев и лет проходило после его смерти, тем радостней и живее было думать о Стасике – о сильном, очень сильном человеке на костылях.

Самое удивительное, что в снах он всегда приходил к ней на здоровых ногах. И в ответ на ее радостный вскрик уверял, что совсем уже выздоровел, а как же, тут все здоровые, не то, что вы там... Откидывал

полу халата, демонстрируя сильные ноги спортсмена... – «Потрогай мускулы!..» – весело приглашал он... Сердце ее колотилось, она тянула руку туда, где... теплая, теплая атласная кожа наливалась округлым пульсирующим восторгом... – она взлетала всадницей, и они мчались, мчались, загоня друг друга, пока спазм мучительного наслаждения не будил ее...

И тогда до утра она сидела на кухне, выкуривая одну за другой полпачки сигарет, думая о нем и твердо зная, что он продолжает любить ее там, где все мы здоровые и веселые...

* * *

Тем первым вечером без Стаса Лёня сидел недолго, больше молчал, рывком поднялся с табурета и молча мерил длинными своими ногами комнату.

– А это чьи работы? – вдруг спросил он, как очнулся, перед двумя небольшими натюрмортами: две картонки были записаны утром и днем, когда свет по-разному перебирал складки платка на спинке стула и, как опытный сладострастник, ласкал керамический чайник то справа, то слева...

– Мои... – отозвалась она...

– Ваши?! – быстро обернулся на нее, озадаченно долго смотрел на вихрастую «дикую» стрижку, на клетчатую, мешком висящую на ее тощих плечах, рубаху Стасика... С нажимом переспросил: – Ваши?

И она поняла его вопрос, и совсем не обиделась. Просто объяснила:

– Стасик никогда не лезет в чужой холст...

Уходя, он не обещал прийти снова. Но этим вечером Вере уже не было так тяжело: словно вены отворили, давая выход скорбной бурой крови...

Лёня появился на другой день. Стоял на пороге, улыбаясь, придерживая за отворотом пиджака что-то копошащееся.

– Вера, извините, ради бога, если некстати. Вот, подобрал тут одно погибающее насекомое...

Достал и протянул на ладони дрожащего слепого пискуна-котенка.

– Ой, комарик какой, – удивилась Вера. – Что с ним делать?

– Для начала – подарить жизнь...

Разыскали в доме пипетку, подогрели молока. Котенок цеплялся когтями за пальцы, разевал крошечную ребристо-розовую пасть и, похоже, не умолял о жизни, а требовал ее. Выяснилось, что у него сломана лапа. Сделали шину из обломка карандаша, расщепленного вдоль. Ковыляя, он чем-то напоминал Стасика.

Когда же, через пару недель, продрал глаза, то в полной мере обнаружил свой высокомерный нрав. Вера назвала его Сократусом.

– Вот Сократ утверждал... ты знаешь, кто такой Сократ, Веруня?

– Ну... он... был грек? И его свои же отравили этой... цукатой?

– Ци-ку-той, Веруня, цикутой... Там, с Сократом, было так... я тебе сначала о нем, потом – почему и за что его помнят...

– Дядь Ми-и-иш...

– Нет, ты послушай, Верунь, в жизни пригодится! Пригодилось...

Кот быстро вырос в сытого холеного барина, пепельного, с платиновыми зализками на брюхе, с холодными, как два топаза, глазами. Судя по всему, считал, что все ему обя-

заны своим существованием. Когда в дом заходили незнакомые люди, обыскивал дамские сумочки, брошенные на пол в коридоре, инспектировал мужские ботинки, – вообще, проверял народ на вшивость... Лёня в то время был уже в доме своим.

9

«... – Вот ты говоришь – послевоенный Ташкент... Кто что, а я первым делом вспоминаю тележки с газированной водой: примитивные тачки на колесах, с небольшим навесом... они спасали в летнее время от жары и жажды тысячи ташкентцев... Там еще была забавная система мытья стаканов: легкий поворот рычага, перевернутый стакан полощется под сильной струей воды... Затем в него из стеклянного цилиндра цедают немного сиропу, того, что ты выбираешь, и сразу вслед – просто чистая вода под газом... И это так весело шипело, вскипало к краям... Помнишь эти тачки? В детстве ты выбирала всегда „крюшон“ – темно-красный сироп...»

– Слушай, пап, а это правда было, или только моя фантазия: за этими лотками сидели еврейские старики, причем одного типа, причем парой, он и она?...

– Да-да, точно: она, одетая в какие-то шматы, и поверх белый фартук, обычно отпустила. Он молча сидел на табурете чуть в стороне...

– Сейчас бы их назвали еврейской мафией...

– Тогда тоже изгалялись, кто как мог... Обычно эти старички почти не разговаривали. Спросит тебя – какой сироп, даст сдачи, пей и иди своей дорогой... Иногда между собой пробрасывали несколько слов на идиш... пока кто-нибудь не подходил... тогда умолкали... Где они качали эту воду для полоскания стаканов целыми днями, откуда брали лед – ума не приложу! И стаканы, заметь, были чистыми, и заразы никакой не прилипало... Да... Потом эти будки постепенно исчезли с улиц. Их заменили автоматы, которыми редко можно было пользоваться, – из них всегда пропадали стаканы...»

* * *

На трамвайной остановке, перед тем как завернуть в свой переулочек, Катя каждый вечер выпивала стакан газировки у Цили-Квашни. Цили сидела за своим лотком под грязно-полотняным тентом, глядела на мир из-за цветных цилиндров с сиропом и комментировала происходящую вокруг нее жизнь. Цили была одесситкой, эвакуированной в Ташкент во время войны. Здесь и осела, за этим вот лотком с мокрыми медяками.

– Дама, шо вы мимики делаете, у вас же весь газ выйдет! Кому не сладко? Вам? А вы за копейку сладко захотели? Шо вы уставились, гражданин, я похожа на вашу покойную мамочку? Шагайте себе по жизни дальше. Какую копейку? Кто не додал? Я?! Боже ж мой, он без твоей копейки умрет, а! Да я всю выручку дам сейчас в твою морду, вместе с тою копейкой! Я тебе материально обеспечу. Я тебе сиропом умою! На, подавись тою копейкой, положи ее в Швейцарский банк! Но я тебе ее не дам!..

Вокруг Цили, на пятячке асфальта с подтеками и лужицами слитого сиропа, всегда бурлила жизнь и толпился народ. Подходили, звякая, душевные трамваи, народ вываливался из дверей и устремлялся к Циле за шипучим глотком воды.

Цили глыбой сидела за лотком – царица Савская, вдоволь хлебнувшая жизни, этой водицы с горькой и грязной пеной. Старший ее сын погиб под городом Брно, младший умер от тифа уже в Ташкенте. С отчаяния, на исходе женского возраста родила она себе от пожилого и лысого, да и женатого, святого духа – (имени никогда не называлось, упоминались только два эти обстоятельства: подкисший возраст и лысина), двойню – Вовку и Розку. Часто они прибежали к матери на остановку – разгоряченные, с потными лбами, наперебой что-то

рассказывая. Бывало, стоят по обе руки от матери, мальчик наливает в стаканы газировку, девочка дает сдачу – отсчитывает и подвигает мокрые медяки тонким пальчиком.

Циля в это время, не торопясь, подробно расчесывала гребнем свои густые, с проседью, волосы. Шпильки держала во рту, сквозь зубы, подсказывая девочке сдачу. Наконец закручивала на затылке крепкий ярко-седой кулак, всаживала в него гребенку.

Был у Циля коронный номер на публику. Наливала она три стакана: два чистой, один – с сиропом. Выстраивала их рядком и, обводя всех вокруг томной бровью, строго спрашивала детей:

– Кому с сиропом?

Те отвечали нараспев, хором:

– Ма-а-амочке!

Позже дети выдували по три стакана с сиропом зараз, но в момент исполнения «номера» – как преданно глядели они на Цилю, как стояли солдатиками, вытянувшись под материнским взглядом!

Катя много раз наблюдала «номер». Вообще она любила постоять возле лотка, поболтать с Цилей-Квашней. Та сидела в крепдешиновой блузке с закатанными по локоть рукавами, одной рукой ловко крутила на мойке стаканы, другой отсчитывала медяки. Осы гудели под тентом, облепливая цилиндры с сиропом...

– Катя, шо слышно? – лениво спрашивала Циля. – Шо ты имеешь на этой своей кенафной фабрике? Дружный коллектив и добровольных свидетелей? Слушай, дай я устрою тебе точку на Алайском. Будешь сидеть как человек, в центре жизни, знать международную обстановку. Будешь иметь немножко честных денег...

Катя отнекивалась, скрывала от Циля, что немножко «честных денег» она из своей кенафной фабрики потягивает. А сидеть за лотком, стаканы вертеть да ос отгонять – нет уж, Циля, не для медяков я дважды выжила. Играла уже в ней, играла эта натянутая струна: вырвать свой кусок у жизни, хоть из горла чьего бы то ни было, хоть из брюха уже!

Однажды Циля заметила, небрежно оглядев Катю с ног до головы:

– Иметь под боком Семипалого и носить такие босоножки?... Катя, мне смешно и больно это видеть.

– При чем ко мне Семипалый? – Катя пожала плечами. Циля усмехнулась и сказала загадочно:

– При чем мужчина к женщине...

Будто знала наперед, чертовка. Да что – Циля! Это часовой механизм судьбы сработал так точно, словно Семипалый собственноручно отладил его своею клешней.

* * *

Однажды поздней осенью подмороженным, седым от снежной крошки переулком Катя торопилась к трамваю. Осторожно семенила по тротуару быстрыми мелкими шажками. Стертые подошвы туфель скользили, разъезжались, дважды она чуть не упала. Как раз сегодня собиралась купить новые теплые боты, которые уже присмотрела в магазине на Первомайской, но не успела – на фабрике проводили профсоюзное собрание, попробуй не явись.

Знобящий сырой вечер набухал теменью, в переулке шмыгали редкие прохожие.

Вдруг неподалеку невнятно и злобно крикнули, прямо на Катю выбежал из-за угла длинный и колеблющийся, словно водоросль, тип, с возбужденно вытаращенными глазами, и крикнул непонятно кому за Катину спину:

– Доп'осился-таки, сука! Доп'осился!

Катя шарахнулась к стене дома – это была типография – и оглянулась: шагах в двадцати, почти у подъезда типографии, стояла, рокоча, черная «эмка». Длинный и бежал к ней. На ходу сорвал с шеи шарф и, судорожно запихивая его в карман пальто, крикнул еще раз кому-то в машине: – «Доп'осился, сука!» – рванул дверцу и повалился боком на заднее сиденье. Машина развернулась и поехала вниз по переулку.

Ничего не понимая, Катя свернула за угол типографии и угодила в драку. То есть сначала показалось, что в драку: сипящую, хрипящую, скулящую. Потом выяснилось – просто били человека. Вернее, добивали: он лежал навзничь на асфальте с закрытыми глазами и кроваво скалился, отчего казалось, что он улыбался. Кровь заливала глаз, щеку, подбородок, стекала под голову. Его остервенело бил ногами невысокий крепыш в меховом полушубке. От каждого удара лежащий постепенно съезжал, как кусок студня, по скользкому наклону тротуара к арыку.

Крепыш в распахнутом полушубке здорово трудился – из распыленного рта валил пар. Он кричал, хрипел, скулил при каждом ударе. Очень жалобно скулил, словно ему было жаль лежащего.

Женский голос из темноты истерично выкрикнул:

– Сво-ло-очь! Что ж ты брата убиваешь! Милиция! Да кто-нибудь, – милицию, Господи!

От женского голоса стало совсем тошно. Брат – так выходило – убивал брата. Катя прижалась к дощатой стене какой-то будки. Надо было проскочить между будкой, притулившейся к стене типографии, и арыком. Но убитый – или живой еще? – съезжал под ударами прямо к арыку, туда, где стояла Катя. Теперь она ясно видела искаженное страданием, озверелое лицо стонущего при каждом ударе крепыша, и мотающуюся по асфальту, оскаленную в кровавой улыбке, маску убитого. В этом был ужас – они будто поменялись местами. Убитый – или еще живой? – был вроде удовлетворен происшедшим, – «допросился, сука!» – вспомнила Катя крик длинного... К ногам ее подкатилось что-то мягкое, круглое, словно живое существо искало у нее защиты. Шапка – не столько увидела, сколько поняла она в темноте.

Тут хлопнула дверца будки, и спокойный, хрипловатый голос произнес с растяжкой:
– Не увлекайся, Жаба. Хорошего понемножку.

И сразу на соседней улице засвиристел милицейкий свисток, затарахтел мотоцикл.

Крепыш подобрался, вытянул шею, определяя ситуацию, потом легко метнулся вверх по переулку, перемахнул через турникет на остановке трамвая и сгинул в темноте.

В это мгновение Катю цепко схватили за руку и, приговаривая – «Ай-яй-яй, ужас какой, что делается!» – заволокли внутрь дощатой будки. Там с потолка на длинном шнуре свисала лысая лампочка слабого накала, но и в этом слабом свете Катя вдруг – по руке – узнала человека со спокойным, в растяжку, голосом. Это был Семипалый, так его все называли, а вообще – Юрий Кондратьич, сын бабы Лены, хозяин второй половины дома. Будка, вероятно, была его часовой мастерской. Это же надо! – столько раз проходила Катя мимо будки на углу переулка, и не знала, что здесь Юрий Кондратьич работает. Впрочем, она и самого его почти не знала. Иногда кивала, если приходилось сталкиваться во дворе.

– Ай-яй-яй, звери какие, не люди! – повторял он между тем, быстро убирая что-то на столике. – Посидите, отдышитесь... А я вижу – девушка стоит, лица на ней нет. Небось всю драку видела, а? – он участливо повернулся к ней, вдруг узнал, запнулся на мгновение и – заулыбался:

– Да это же соседка моя! Ира? Люба?

– Катя... – пробормотала она с облегчением.

– Что ж ты здесь делала, Катя-Катюша? А? Стоит, бледная, – в стенку вжалась...
– Я домой шла...

Между тем доносились с улицы возбужденные голоса. Всхлипывала женщина, кто-то строгим голосом распорядился. Взывала сирена «скорой помощи».

– Да ты садись, Катюша, садись, – пододвигая ей шаткую скамейку, приговаривал Юрий Кондратьич – как-то здесь, вблизи, не получалось даже мысленно называть его кличкой. Была во всем его облике какая-то уважительная мужская стать. А еще – Катя остро это чувствовала – еще он излучал опасность.

Вдруг взял Катю за руку, на которой были застегнуты часики – гордость ее, недавняя покупка, – поднес к уху и вслушался.

– А часики-то барахлят! – подмигнул. Одним движением отстегнул и положил на стол. Надвинул на левый глаз перевернутый картонный стаканчик с линзой, вправленной в донце, подтянул на затылок резинку, охватывающую голову, и склонился над столом.

– Они хорошо ходят! – угрюмо возразила Катя. Тогда сидящий спиной к ней Юрий Кондратьич сказал негромкой жесткой скороговоркой:

– Вот что, Катя. Ни мне, ни вам милиция не нужна. Правда? Сейчас сюда зайдет милиционер. Так вы – клиентка, зашли часики починить. Мы с вами здесь уже полчаса сидим, шум слышали, но ничего не видали – выходить побоялись.

Он обернулся. Жутковато плавал мохнатой медузой глаз его в линзе картонного стаканчика.

– Ведь мы с вами не вояки, правда? Вы – девушка, существо робкое. Я – инвалид, – он приподнял левую, перебинтованную ладонь с двумя уцелевшими пальцами, большим и указательным. Рука была похожа на клешню.

Кате стало зябко, все перемешалось: длинный тип, бегущий на нее в яром азарте, кровавый оскал избиваемого, «допросился, сука!» – и вот это, спокойное – «Жаба, не увлекайся!»... Неуютно было под линзовым глазом морского чудовища, и она вдруг поняла со всей ясностью, что уж ей-то и в самом деле милиция вовсе не нужна.

– Часы только не попортьте, – сказала она хмуро. Семипалый расхохотался.

Дня через два, вечером, накануне ноябрьских праздников Юрий Кондратьич вдруг появился у бабы Лены. На Катиной памяти это было впервые.

Она сидела у себя за занавеской, штопала чулок и слушала повизгивание и поскуливание, а время от времени – шлепки и яростное пыхтение, – Колян и Толян делали уроки. Когда приготовление уроков принимало слишком уж безобразные формы, бабка Лена вскрикивала грозно: «А ну! Вот сейчас мать зайдет!» – но стоило бабке на минуту выйти из комнаты, внуки принимались яростно материться шепотом – думая, что Катя не слышит.

В такой-то момент дверь бесшумно распахнулась, и уже знакомый, врасстяжечку, голос произнес ласково:

– Ай, красота! Что умолкли, птенчики? Валяйте дальше, пока бабка во дворе.

Вслед за этим последовали два звонких сухих шлепка, вытье племянников и грохот падающих стульев. Это Толян и Колян разлетелись по углам от двух полновесных затрещин. Катя испуганно выглянула из-за занавески.

Семипалый принарядился. Костюм на нем был черный, бостоновый, сорочка белая, наглаженная... Это интересно, кто ж ему так чисто стирает? – и выглядел он гораздо моложе, чем накануне в будке. Пожалуй, больше тридцати пяти ему сейчас не дать. Да, если приглядеться к нему как следует, – Семипалый мужик видный. Глаза только странные, опасные такие глаза, обманчивые, – веки ленивые, припухшие, а серая радужка зрочка заключена в

четкий черный обруч, и цепким гвоздиком вбит зрачок. Вскинет Семипалый веки и насадит тебя на острие зрачков, словно букашку.

– Как часики идут, клиентка? – спросил он Катю приветливо, подошел и, неожиданно склонившись, так что волосы рассыпались на пробор, поцеловал ей руку. В Кате все обмерло и горячим гулом обдало сердце – ей никто еще не целовал руки, и вообще такое шикарное обхождение она только в заграничных фильмах видела, в летнем кинотеатре, в ОДО.

Вдруг разом она вспомнила: о Семипалом рассказывали легенды, Циля говорила, что Семипалый «миллионщик»...

– Пройдемся? – спросил он. – Погуляем.

Катя собралась отказаться как отрезать, и одновременно кинулась за занавеску, схватила блузку, юбку, увидела, что пуговицы на поясе не хватает, разозлилась и, с колотящимся сердцем, принялась судорожно пришивать пуговку, укалываясь нервными пальцами об иголку.

Вошла бабка Лена и оторопела, увидев сына. Очень редко заходил сюда Юрий Кондратьич. Бабка засуетилась, не зная – что сказать и как быть. Не знала, по делу зашел сын, или как...

– Юра, может, выпьешь? – наконец робко предложила она.

– Нет, я сегодня не пью, – насмешливо, громко сказал он... – Завтра ведь праздник... Такой большой праздник завтра, а у меня во рту будет плохо... Куда это годится... – И ясно было, что он насмеяется, а вот над кем – непонятно. То ли над матерью, то ли над Катей...

На минуту в комнате повисло тягостное молчание, только Колян и Толян сопели за столом, старательно уткнув прыщавые физиономии в учебники.

Потом бабка решила:

– Юра, сынок... Лиде бы помочь маленько... Ведь из сил выбивается...

– Хватит! – оборвал он ее тихо и жестко. – Слышать об этой кобыле не желаю...

Катя вышла из-за занавески. Юрий Кондратьич поднялся, распахнул перед нею дверь и молча пропустил вперед. На мать не оглянулся. Баба Лена так и осталась сидеть с оторопелым лицом.

10

На «Тезиковку» ходил десятый трамвай, по воскресеньям набитый людьми до того предела, когда сдавленная чужими локтями и спинами грудная клетка выдыхает задушенный стон, когда тебя вносит и выносит из трамвая на чьих-то плечах и спинах; толпа выдавливается на остановку, как повидло из пирожка.

Так добирались до знаменитой толкучки на Тезиковой даче. Вроде был такой купец до революции – Тезиков, вроде дача у него была в тех местах. Хотя, как считала Катя, – незавидное место для дачи: кривые глинобитные улочки, обшарпанные ду-валы, железнодорожные пути... Словом, «Тезиковка»...

Ехать долго, мучительно. Летом – духота и тошнотворно тяжелый запах пота и кислого молока, которым узбеки моют головы. Зимой – мерзлые окна, воняет мокрыми овчинными воротниками, не пробиться через заграждения ватных спин.

Кондукторши со своими кирзовыми сумами на животах как цепные псы: проходит кампания по борьбе с паранджой, и велено не пускать в городской транспорт представительниц средневекового мракобесия.

– Куда прешь, в парандже?! – орет кондукторша скрюченной старухе. – Не пускайте ее, граждане! Пусть сымает!

Граждане улюлюкают и гонят старуху, но уже на ходу, когда вагон судорожно дергается, как прирезанная овца, кто-то подхватывает семидесятилетнюю, с отсталыми взглядами, опу,

и подпихивает в спину, вминает, втискивает в толпу на задней площадке. Кампания кампанией, а всем до «Тезиковки» надо.

Карманники – по два-три в каждом трамвае – работали на площадках: так легче уйти, спрыгнув на ходу.

Нюх у Кати на карманников был поразительный. Она определяла их мгновенным и острым, собачьим, чутьем. Узнавала по скользкому взгляду и праздным рукам. Самой себе удивлялась, до чего точно определяла, и опять же, самой себе не призналась бы – каким таким способом. А просто: представляла, что она-то и есть воровка, и ей-то и надо сейчас нащупать гуся пожирней... Ощущала так явственно, что, бывало, рука уже тянулась к карману притиснутого к ней соседа, про которого она почему-то знала, что деньги там есть...

Сама-то она держала деньги в надежном месте – в лифчике, да еще в платочке носовом, заколотом булавкой, – попробуй достань!

Вывалишься с толпой на конечной, перейдешь по деревянному мосту через Салар, тут тебе сразу и толкучка – начинается прямо на железнодорожных путях. Торговали здесь всем, кроме мамы родной...

Уже перед полотном стояли рядами бабы, держали товар на руках или на земле, на расстеленной газете... Ряды пересекали железнодорожное полотно и тянулись влево, туда, где кипел муравейник базара. Громадная асфальтированная площадь с утра была запружена людьми – все толкались, пробивались, искали в месиве толпы протоки, по которым можно протиснуться вглубь, дальше, в шевелящуюся, торгующуюся, матерящуюся кашу.

Площадь разворачивалась сразу за длинным, давно заколоченным дощатым ларьком «Овощи и фрукты».

За ларьком Катю ждали. Если не ждали, то она прогуливалась туда-сюда вдоль крашеной давней зеленой краской стенки ларька со скучающим видом.

На самом деле предстоящее волновало ее. Катю всегда волновал риск, да и кроме риска, было в том, что предстояло ей, нечто особенное, чего не могла она назвать, но ждала с нетерпением. Странно: в такие минуты ей казалось, что на нее смотрят. Кто? Почему? Неясно и необъяснимо, но – смотрят с интересом и затаенным дыханием. И она вольна держать этот интерес, ни на минуту не ослабляя усилий.

Вот выныривал из толпы Слива – маленький, злой, сутулый, с действительно налитым, как слива, фиолетовым носом – юркий и неутомимый жулик. Они молча переглядывались с Катей. Осмотревшись мгновенно – как сова, – провернув голову вокруг шеи, Слива беглым движением совал ей в руку тяжеленькое, круглое, в носовом платке, и нырял обратно в кишачий муравейник.

Теперь надо было пробиваться за ним; Слива приводил ее на место, где должен был разыгрываться спектакль, – и Катя пробивалась, огрызаясь и с остервенением отпихиваясь локтями, стараясь при этом держать в поле зрения тощую сутулую спину Сливы, ни на минуту не отпуская в себе то самое чувство: она в центре внимания, и должна во что бы то ни стало доказать, что этого внимания заслуживает...

Пробившись до часовых рядов, Слива еле заметным кивком указывал Кате место между какой-нибудь старухой, продающей по бедности часы с кукушкой, и пожилым барыгой в пестрых шерстяных носках, вдетых в остроносые узбекские ичиги.

И для Кати начиналось то самое.

Тут надо было за секунду другим человеком стать! Катя надвигала на лоб косыночку, и – нет, не прикидывалась, – она становилась растерянной неопытной девочкой, которую пригнало на проклятое торжище крайнее горе.

– Здесь... не занято... рядом? – робко спрашивала она старуху. – Можно, я тут постою?

– Чё ж... стой себе на здоровье, – охотно отвечала старуха, – всем продать надо...

Разные, впрочем, попадались люди. Бывало, что и гнали, конкуренции боялись. У всех здесь был товар один – часы. Всякие часы – от бытовых рабочих будильников до напольных, старинных, в часоленке из красного дерева, уютно домашних, с боем.

Катя специализировалась на карманных и ручных, которые друг другу тоже были – рознь. Например, репетитор от «Павла Буре, поставщика двора Его Величества» – часы карманные, машина с цилиндрической системой, крышечку нажмешь, она отскакивает, и такая небесная музыка перебирает твою душу по струночкам, что слезы наворачиваются на глаза! Эти не самые дорогие, но самые эффектные. А то бывают морские, водонепроницаемые, с черным циферблатом и фосфорными стрелками.

Дороже всех ценились трофейные, швейцарских знаменитых фирм – «Омега», «Лонжин»...

Катя разворачивала платочек, и – снопами фиолетовых искр – брызгала под солнцем тяжелая луковица золотых карманных часов. У старухи справа и барыги слева аж дыхание занималось – так сверкали часы красноватым золотом! Разглядывали искоса, восхищенно цокали языками.

Вот она наступала, вдохновенная минута: отчаяние – живое, настоящее – накатывало к горлу, глаза наполнялись слезами и слезы катились по лицу, падая на искрящуюся луковицу часов.

– Мамочка, мамочка... – глухо бормотала, пристанывала Катя. – Знала бы ты, что я дедовы часы продаю... Господи, знала бы ты...

А ведь у папы и вправду были такие часы, он говорил, от отца, – с ветвисторогим оленем на серебряном исподе, с маленькими буквами по кругу... Их мама сменяла на муку в первые же дни блокады. Проели дедовы часы все вместе, тогда еще полной, живой семьей...

– Э, милая, – вздыхала старуха, – все мы тут не с радости...

– Мама умерла... – сдавленным голосом, всхлипывая, говорила Катя. – Похоронить не на что...

Серый барыга сочувственно качал головой.

– Если не продам сегодня... не знаю... руки на себя наложу!.. – с отчаянием добавляла Катя. Она не притворялась; она верила и мысленно представляла маму, их квартиру на Васильевском; все перепутывалось – мама-то умерла, но не много лет назад, а вчера, и похоронить не на что, да и кто кого сейчас хоронит? Дай бог доволочь санки до эвакогоспиталя и оставить, а Саша, он же там работает – Саша сделает все что надо... Мама очень мучилась последние дни, она совсем не могла терпеть голода. Голод не все могут терпеть – это Катя давно поняла. Нужна такая особенная злость, чтобы вытерпеть. А то вон, дружок и сосед, Сережка Байков из сорок пятой квартиры, перед смертью отъел себе четыре пальца до второй фаланги... А второй Катин брат, Аркаша, ему двенадцать было, он из горчицы наладился оладьи жарить, так ее ж надо долго выпаривать, а он не дождался... Прямо так, соскреб всю со сковородки, и съел. И, видно, нутро у него сожгло. Он заперся в туалете, дико кричал. Саша с Володей вломились туда, подхватили его под руки – он ноги поджимал, кричал – и поволокли по коридору в комнату, уложили на кровать. А мама пришла с работы, ушла в другую комнату, легла и заснула – даже не подошла к Аркаше. От голода отупение такое наступает... Ну, Аркаша еще промучился до вечера – сначала кричал, потом тоненько так, нечеловечески скрипел... Потом освободился, умер...

Слезы лились, не переставая. Катя не знала – как это объяснить, но она вдохновенно плакала настоящими слезами о своей судьбе только здесь, работая. Никогда – наедине с собой.

Часы-то были не золотые, конечно, серебряные, но виртуозно позолоченные Семипалым, а проба она проба и есть – кому надо, смотрите: вдавленные крошечные цифирьки. Кто там их разберет без лупы!

Тут появлялся Слива, приценивался, крутился рядом и опять пропадал. Затем возникал Пинц – длинный, в сером пальто, на шее тот же красный шарф.

– Что вы, к'асотка, этим часикам тыща – к'асная цена!

– Бессовестные! – негодовала старуха. – Звери! Барыги проклятые! Так и норвят обобрать.

Катя с заплаканным кротким лицом твердо стояла на своем.

Пролог был окончен. Начиналось действие. Слива и Пинц кружили по толкучке, выбирая жертву. Искали ффраера.

На базар по воскресеньям приезжали пригородные. Продавали мясо, фрукты, мед со своей пасеки. Заколот, скажем, хозяин кабанчика, привез продать на «Тезиковку». Часам к двум, глядишь, расторговался. А теперь, с выручкой, можно и по толкучке пройтись – мало ли чего домой купить нужно. Вот такого-то ффраера с мощной выбирали Слива и Пинц. Подходили невзначай, сзади, спорили возбужденно, как бы между собой:

– Рома, беги сейчас же к Юрькондратьичу, займи еще тыщу. Этим часам цены нет! Им цена десять кусков, а она три просит. За два отдаст!

Заинтересованный ффраер оглядывался. Слива и Пинц, заметив его взгляд, понижали голоса, отворачивались. Затягивали жертву в сети.

– А где она? – лениво спрашивал Пинц.

– Вон стоит, возле старухи в черном платке. В косыночке, видишь? Совсем зеленая, ничего не понимает. Вроде, от нужды продает. Беги к Юрькондратьичу, слышь?

Ффраер, не подозревая, что на его бумажнике затягивается петля, оборачивался туда, где стояла тоненькая растерянная Катя. Часы сверкали на солнце, манили, обещали неслыханную выгоду. И ффраер устремлялся в сторону беды своей. За ним, едва поспевая и переругиваясь, шли Пинц и Слива.

Пинц играл ленивого нерадивого барыгу:

– Да б'ось, шо мы, часиков не видали.

– Идиот! Говорю тебе – все камни бриллиантовые! На Карла Маркса в закупочной мы сразу десять кусков имеем!

Ффраер накалялся до температуры, нужной обеим сторонам для сделки. Он брал часы в руки, щупал их тяжелые круглые бока. Часы ослепляли.

– Молодой человек, вы не сомневайтесь, это дедушкины, все, что от мамы осталось. Я только с горя продаю! – вдохновенно и печально говорила Катя. – Похоронить не на что... Здесь барыги рыщут, я их боюсь, они за копейку готовы горло перегрызть...

– Сколько хотите? – неуверенно спрашивал ффраер, лаская пальцами золотые бока луковицы.

– Я три хотела. Но вам, может, за две с половиной отдам... Горе у меня...

– Девушка, ну что – за полторы отдадите? – совался сзади Слива.

Катя страдальчески морщилась. Слива плохо играл – вот что ее раздражало. Мысленно она не называла это словом «играет» – просто плох был Слива, многое портил. Хорошо, что ффраер ничего уже не замечал в азарте торговли.

– Дороговато, а? – просил он, не выпуская часы из рук. Они уже полюбились ему, он уже знал, что купит их, только торговался для совести – чувствовал, что Катя может уступить еще чуток.

– Ты гляди, на ком наживаешься! – сурово замечала старуха ффраеру. – У девчонки горе, мать померла. А ты последнюю шкуру торгуешь! (Вот это приводило Катю в особенный

восторг – когда в орбиту ее игры поневоле вовлекались посторонние, становясь статистами, подвластными ее замыслу.)

Тут появлялся Пинц, и это было кульминацией всей сцены. Пинц вынимал пачку сто-рублевых из внутреннего кармана пиджака и, треща купюрами, протягивал их Кате поверх головы фраера.

– Ладно, к'асотка, бе'ем за две, – весело и окончательно решал он. – Больше никто не даст.

– Э! Куда прешь! – вскидывался возмущенный фраер, сжимая часы покрепче. – Я раньше купил! – и умоляюще заглядывал Кате в глаза. – Девушка, две триста, а?

– Ладно, – измученно соглашалась наконец Катя. И молча, отрешенно глядела, как, заворотя полу пиджака, фраер сопя отсчитывает деньги... Зорким боковым зрением отмечала, что Слива и Пинц, разочарованно матерясь, уже растворились в толпе. Пересчитывать деньги ей не требовалось – Катя обладала поразительной способностью мгновенно оценивать по весу количество денег в пачке. Аккуратно, не торопясь, под сочувственными взглядами старухи, она заворачивала деньги в платочек, совала поглубже за пазуху и, сердечно попрощавшись, уходила.

Впрочем, отойдя шагов на двадцать, уже отчаянно орудовала локтями, пробиваясь к ларьку «Овощи и фрукты», где ее ждала рокочущая мотором, вся помятая черная «эмка».

Фраеру, между тем, не терпелось показать часы специалисту, чтоб еще кто-то, беспристрастный, оценил их и подтвердил, что покупка чертовски выгодна.

У входа на базарную площадь лепилось несколько часовых будок, где за червонец можно было получить любую консультацию. Туда и спешил фраер и через минуту уже выслушивал от неличеприятного специалиста все сведения о чертовски выгодной покупке. Часы, конечно, неплохие, серебряные, механизм подержанный, но идут неплохо. Цена им – рублей триста, триста пятьдесят... Как вы сказали? Бриллиантовые?! – часовщик изумленно-весело оборачивался к своему напарнику: – Ты слышишь, Фима, – бриллиантовые камни! Голубчик, я таких не встречал. Фима, а ты? Вот видите, и Фима не встречал...

В смертельной ярости, как раненый гладиатор, фраер бросался назад.

– Где она?! – рычал он, наводя ужас на невинную старуху. – Где-е?! – и грозил разметать товар грошового барыги, хлам на расстеленной газетке, – побитые циферблаты, треснутые корпуса. Ему испуганно указывали направление, в котором ушла девушка.

И долго еще метался незадачливый фраер по бурным волнам толкучки, в бессилии и праведной ярости, как погибающий фрегат с обломанными снастями...

* * *

– Артистка! – восхищенно бросал Слива, когда Катя садилась рядом с ним на переднее сиденье. – Чиста-сливочна-масло!

– Давай, крути! – сухо отзывалась она. Ее раздражал Слива, раздражал Пинц. Непонятно – на что они сдались Семипалому, дармоеды чертовы. Разве что подкармливать от щедрот.

Катя вообще считала, что прекрасно бы справилась сама. Она да Семипалый – а больше никого и не нужно.

Проехав «Тезиковку», вокзал, район Госпитального рынка, Слива останавливал машину на Саперной, где-нибудь в укромном дворике.

– Давай, – говорил Слива, деликатно отворачиваясь и сплевывая через окно машины. На заднем сиденье нетерпеливо ерзал Пинц. Доли своей дожидался, водоросль зеленая. А за что, спрашивается?

Катя неохотно лезла за пазуху, вынимала пачку в носовом платке и отдавала Сливе. Тот пересчитывал, бормоча, слюнявя палец, ошибаясь, вновь принимаясь отсчитывать. Катя смотрела на его манипуляции с тихим презрением. Сама-то она деньги считала молниеносно – проводила большим пальцем по ребру собранной пачки и точно называла – сколько в ней купюр.

Слива отсчитывал Катину долю, – сотни полторы-две, это зависело от заработанного, – потом откладывал себе и Пинцу. Остальное отвозили Семипалому. Прямо в часовую мастерскую на углу Карла Маркса.

... Однажды зимним, необычайно прозрачным воздушным днем, после особо удачного дела, сидя в машине рядом с осточертевшим ей Сливой, Катя вдруг поняла, что пора прикрывать благотворительную контору по поддержанию жизни в бездарных душах этих шелудивых псов. Нет, конечно, они рышут по базарам и ищут фраера. Иногда добывают хороший товар, который можно перепродать втридорога. Ну и Слива, отличный механик, со своей, из железной требухи собранной, «эмкой», всегда на подхвате, что удобно...

Но – равная с Катей доля – им, мелким барыгам?

В том же дворе, возле низкого голубого штакетника, огораживающего укрытые на зиму, припорошенные снегом и перевязанные, как вареная колбаса – веревками, толстые виноградные лозы, Слива остановил машину и, как всегда, велел доставать деньги.

Не двигаясь, Катя со скучающим видом смотрела в окно, на крыльцо жактовского домика, каких много было в этом дворе.

На крыльце сидела большая рыжая псина и остервенело выкусывала блох у себя в паху.

– А'тистка, п'оснись! – окликнул Пинц с заднего сиденья.

Катя нахмурилась и сказала Сливе:

– Крути к Семипалому.

Слива изумленно воззрился на нее:

– Чего это?

– Он поделит.

Повернувшись к ней всем корпусом, Слива несколько секунд ее разглядывал.

– Не мудри, девка. Пусть все по-хорошему, дрёбанный шарик!

– Семипалый делить будет. По-настоящему.

– Это как – по-настоящему? – тихо и опасно спросил он.

– А так, что ваша доля с моей не ровнится, – спокойно ответила она.

– Это почему же не ровнится? – вкрадчиво уточнил он.

– Потому что она с Семипалым спит! – ехидно выпалил Пинц сзади.

Снег под собакой на крыльце растаял, подтек. Солнце прыгало по сосулькам, свисающим ледяной гроздью из раструба ржавой водосточной трубы.

– Верно, Пинц. И ты запомни это, – сказала Катя и повторила насмешливо: – К'епко запомни.

– Слушай, артистка... С одним таким, что сильно просил и допросился, уже договорились. Он тоже шутить любил.

– Слива, – перебила она, хмурясь. – Нет охоты слушать твои гнусные песни...

– Добра не помнишь! – с сердцем продолжал он. – Давай поговорим, дрёбанный шарик... – видно было, что Слива крепился из последних сил. – Забыла, какую тебя подобрали!..

– Ты подобрал? – жестко улыбнувшись, спросила она, глядя в отечные, припухшие глазки Сливы. – Ты бы рад подобрать, дрёбанный шарик, да нос перерос.

И словно не замечая, как наливается багровым лицо барыги, добавила спокойно:

– Ну, ладно сердить меня! Вези, Семипалый нас поделит.

11

Юрий Кондратьич считал себя человеком интеллигентным: до войны он успел закончить четыре курса харьковского инженерно-строительного института, увлекался философией, в студенческие годы любил щегольнуть в компании каким-нибудь занятным изречением Шопенгауэра или Ницше, и вообще, парнем был башковитым, внушал к себе по крайней мере уважение.

Кроме того, в юности был отличным теннисистом, даже выступал в соревнованиях на первенство Украины. Особую приязнь у сокурсников он никогда не вызывал, да, впрочем, и не стремился завоевать чью бы то ни было любовь или приязнь. Своего же ни на копейку не упустил, а своим считал многое.

Войну Юрий Кондратьич прошел, как полагается уважающему себя мужику, честно и многотрудно – сапером. Ранило его в конце сорок четвертого, – подготавливая проход для разведчиков, в темноте случайно задел взрыватель... – контузило, и взрывом оторвало три пальца на левой руке – средний, безымянный и мизинец.

(Однако ничего: оставшимися двумя, бывало, поднимал ведро, полное воды, держал себя в ежовых рукавицах и впоследствии всю жизнь, до самой старости, даже зимами купался в Саларе.)

Прямым из госпиталя он подался в Ташкент, куда еще в начале войны эвакуировались мать и сестра Лида с детьми.

В Ташкенте Юрию Кондратьичу понравилось...

Была какая-то упоительная мягкость в проникнутом тихим журчанием арыков воздухе, в дальних голубых горах, в деревьях, смыкающихся зеленым сводом над тихими улицами, в белых, желтоватых и розовых особняках центра города – каждый наособицу: где колонны, где лепнина по карнизу, но все просторные, с высокими потолками – только и спасение от жары...

И – щедрый солнечный свет разливался с утра, проникал сквозь листья, играл желтым и зеленым на тротуарах, въедался золотой лессовой пылью в стволы деревьев и длился до самой ночи, благоуханной чернильно-звездной ночи, оглушающей ароматами трав и кустов.

Еще разъезжали по городу редкие фаэтоны, «иса-арава» – по-узбекски, а в народе – «ишак-арава», и следом, норовя вскочить на запятки, бежали беспризорники.

Торговля в городе шла бойко и повсюду. Ломились от фруктов базары, каленые узбеки выносили в тазах, накрытых полосатыми чапанами, горячие, только из тандыра, лепешки, от которых шел такой тминный томительный дух, что мимо пройти – никакой возможности.

Запряженные в арбы ишаки смиренно смаргивали слезы под тучами зеленых мух...

С раннего утра на углу Осакинской и Пушкинской затевался базарчик. Вдоль Учительской прямо на обочине выстраивался ряд молочниц, старик-узбек торговал жареной кукурузой, белыми солеными шариками курта и миндалём в сахаре: «пара рубль». Инвалиды за пачку «Беломора» драли аж целый рубль тоже...

Высокий, дородный, как генерал, старик Савелий – барыга в плаще защитного цвета, – степенно прохаживался взад-вперед, зычно покрикивая: «Е-е-есть! Е-е-есть! Есть аспирин, стрептоцид, пирамидон, американский резиновый гандон!»...

За ним волочился хвост передразнивающих его беспризорников...

...А главное, встретил здесь случайно Юрий Кондратьич Володю – отцова друга, часовщика. А ведь отец был в свое время первый в Харькове часовщик! Юрий это дело с детства знал, часовую машину видел и понимал прекрасно, и душа к этому лежала. Впрочем, речь не столько о душе, сколько о выгоде.

Дело налажено было отменно. Приезжал из Москвы «челнок», оптом привозил фурнитуру – запчасти к часам: аксы, волоски, балансы, маятники. Отремонтировать-то можно было любой хлам, запросив при этом с заказчика вдесятеро. Циферблаты, по пятьдесят рублей штука, писала бойкая девочка Нина, что сидела в отделении «Красного часовщика» на улице Урицкого.

Дряхлеющий, больной раком, Володя уговорил Юрия войти в дело, потеснился в своей будке на центральной оживленной улице Карла Маркса, и вскоре в сложной и многоступенчатой иерархии ташкентских часовщиков «Семипалый» – так мгновенно окрестило его все часовое общество – занял подобающее его толковой башке место.

Через год Володя умер, оставив Семипалому будку и все связи, да и сам Семипалый к тому времени стал уже известным скупщиком, с налаженной сетью мелких барыг, которые поставляли ему товар, сбывали готовый, и тем кормились от него помаленьку.

Официально Семипалый числился в артели «Красный часовщик». Получал неплохую пенсию по инвалидности, жил тихо, как в логове, в своей половине дома, который купил для матери и сестры еще в 47-м году, – это была небольшая комната с кухней и прихожей, с отдельным выходом на звенящую арыками улицу, всю в вязкой, тревожной тени карагачей.

* * *

Тем вечером, когда Семипалый забрал Катю из дому, она впервые в жизни переступила порог ресторана. Сидела на стуле с высокой резной спинкой – прямая, настороженная, среди крахмального полотна скатертей и салфеток, огромных, в полстены, зеркал в позолоченных рамах – впадая в тихую панику от количества ненужных вилок, ножей и ложек. От вина отказалась наотрез. Слыхала, и не раз, – чем это вино кончается.

– Что дама выберет? – спросил Семипалый, открывая синее глянцевое меню с нарисованной на обложке пухлой хлопковой коробочкой.

Внешне он был невозмутим и безукоризнен. А глаза время от времени вскидывал на Катю, и взглядом своих острых гвоздиков-зрочков пригвождал ее к резной спинке стула. И тогда становилось страшновато и непонятно, чего хочет этот человек – хорошего или плохого.

– Итак: антрекот, бефстроганов, люля-кебаб, тарталетки?

– Да... – напряженно вслушиваясь в незнакомые слова, сказала Катя.

– Что именно – да?

– Которое третье, – краснея, пробормотала она.

По тому, как вились вокруг вышколенные официантки и сколько раз подходил заведующий залом, поинтересоваться – доволен ли «Юра» и вкусно ли даме, – (да она в жизни своей не ела такой удивительно пряной, источавшей тонкий аромат выдержанного в вине мяса, еды!) – Катя поняла, что здесь Юрий Кондратьич свой человек...

После ресторана чинно, под руку, прошлись Сквером, свернули к курантам, погуляли по краснопесчаным дорожкам в парке Горького... Там играл духовой оркестр, и, несмотря на холод, трое велофигуристов – две девушки в пачках и сухопарый дядька, похожий на гуся с черной бабочкой на кадыкастой шее, – выделявали вокруг клумбы умопомрачительные штуки на одноколесных велосипедах...

Напоследок Семипалый завел ее в кинотеатр «Молодая Гвардия», где в тот день крутили фильм «Путь в высшее общество», но Катя так волновалась, что мелькания полустертых лиц и фигур на экране почти и не видела, искоса взглядывая на острый профиль Юрия Кондратьича, который как раз очень внимательно следил за происходящим, хмыкал, раза два рассмеялся, блеснув в темноте зубами, и так увлекся, что на Катю не посмотрел ни разу. Она

же запомнила только синие, театрально-бархатные занавеси в фойе, потолки с лепниной и полную певицу на деревянном крашеном возвышении.

Статная, в черном, переливающимся блестками, платье с открытыми плечами, певица пела какой-то романс, складывая створками ладони в умоляющем жесте и пытаясь удержать на полном носатом лице выражение одухотворенного страдания...

Публика сначала толпилась в буфете, потом чинно бродила по фойе, шаркая подошвами. Лишь небольшая группа, сгрудившись у сцены, слушала, вернее разглядывала носатую певицу. После романса та исполнила несколько известных песен, время от времени протягивая руку в сторону какого-нибудь мужчины, напевая: «Сашка – сорванец, голубоглазый удалец...», – и глаза ее неестественно, лихорадочно блестели.

Кате было весело и страшновато. Никогда в жизни еще за ней так шикарно не ухаживали. В буфете Семипалый купил ей бокал морса и два батончика московской фабрики «Октябрь», по 33 копейки... Он придерживал ее под руку, время от времени прижимая к своему боку тонкий Катин локоть.

...Возвращались с ветерком – поймали мотоцикл, Катя села в коляску, Юрий Кондратьич – позади лихача, и помчали темными ночными улицами, резкий холодный ветер обдувал лицо... Свет фары выхватывал то кривое колено карагача на повороте, то метнувшуюся вдоль арыка кошку или крысу...

У дома Семипалый рассчитался с парнем, дождался, когда мотоцикл, потряхивая пустой коляской, развернется и уедет и, пропустив девушку в калитку, вдруг удержал ее за руку, повыше локтя, и сказал просто:

– Не хочешь посмотреть – как я живу?

– Другой раз, – дрожа и чувствуя, что он ощущает эту дрожь, проговорила Катя. – Поздно уже, мне рано вставать.

– Как хочешь, – спокойно сказал он, не отпуская ее руки. – Зашла бы на пять минут. У меня есть чем угостить...

Она молчала, пытаясь сдержать колотивший ее озноб.

Семипалый достал ключ из кармана, прошел по кирпичной дорожке к своей двери, открыл ее и, войдя в коридор, щелкнул выключателем. Теплый уютный свет окатил его высокую фигуру и спокойное лицо.

– Заходи, – приветливо щурясь, по-домашнему пригласил он Катю.

«Дура, чего трясешься! – подумала она вдруг. – Человек как человек. Наслушалась всякой брехни, корова!» – и поднялась по ступенькам в дом.

В углу прихожей притулилась круглая деревянная вешалка на трех приземистых, словно присевших ножках, на стене висело небольшое зеркало, под которым стояло, накрытое крышкой, отхожее ведро. В кухне под окном притулился низкий старый шкафчик, крашенный, со скриплыми дверцами. Чистая клеенка, примус...

Семипалый открыл шкаф, достал тарелки и какие-то свертки.

– Знаешь, – сказал он, – сладости люблю. Даже стыдно – взрослый мужик к конфеткам тянется.

И высыпал на тарелку слипшиеся кубики мармелада, фигурные печенья, фунтик соленого миндаля.

– Проходи в комнату, я чайник поставлю.

Катя перед порогом скинула туфли, как принято было в Ташкенте в домах.

В комнате было чисто и очень просто. По углам стояли две этажерки с книгами, у стены просторная, аккуратно застеленная кровать с никелированными шарами на спинках. Из другой стены выпирала круглым важным животом печка, крашенная серебрянкой. И стол круглый, почти такой же, как на половине у бабки Лены, стоял посреди комнаты, а на столе

– молоток, напильник, еще какие-то инструменты. Видно, перед уходом мастерил что-то Юрий Кондратьич, да так и не убрал.

Катя успокоилась и повеселела. Пошла бродить в чулках по домотканому узбекскому половику, приблизилась к горячей печке – видно, там, на другой половине, с вечера топили, – прислонилась спиной...

– Кто вам убирает? – спросила она. – Баба Лена?

– Налетай на мармелад, – отозвался он из кухни. – Не стесняйся.

Она еще побродила по комнате, склонила голову набок у этажерки, медленно читая названия книг. Назывались они все непонятно...

– Книги смотришь? – спросил Семипалый, подходя к ней сзади. – Ты любишь читать?

И вдруг горячей ладонью мягко взял за плечи, быстро огладил грудь, чуть привалил к себе.

Катя метнулась из его рук, шарахнулась к столу и, схватив молоток, попятилась к двери.

– Вот это да! – негромко воскрился Семипалый и пошел на нее.

– Убью! – сухими губами предупредила она. Сцепила зубы и удобней перехватила рукоятку молотка. Все обмерло и высохло – во рту, в гортани... На обочине взгляда дурацкой горсткой желтел мармелад на тарелке.

Юрий Кондратьич засмеялся ласково, сделал еще шаг и нежно, крепко прижал ее голову к своей груди.

– Правда, убью, – прошептала Катя, тычась лицом в его грудь.

Там пахло свежей сорочкой, горячим здоровым мужским телом и веяло застарелой Катиной тоской по дому, по семье.

– Волчонок... – тихо сказал он в ее маленькое вишневое ухо. – Бездомный волчонок, надо же когда-то в чье-то логово прибиться...

... Часа через два Катя на ощупь пробралась через темную комнату бабки Лены к себе за занавеску и легла навзничь, мелко сотрясаясь всем телом от лихорадочного озноба. Пролежала так минут пять... десять... Дрожь не унималась, перекатывалась по всему телу от затылка до ступней, еще хранящих тепло его большой ладони, попеременно согревающей и быстро растирающей то одну ее ледяную ногу, то другую.

Во дворе заскулила и лениво брехнула, звякнув цепью, собака Найда. С иступленным шорохом скользила по стеклу ночная бабочка.

– Ли... Лида! – услышала она задушенный шепот бабки Лены. – Спишь?

– Мм... чего, мам?... – хрипло отозвалась дочь.

– Слышала, нет?

– Оставь ее в покое, – раздраженным шепотом ответила Лида. – Это ее личное дело...

Спи!

– А когда этот гад дом у тебя для нее отымет, – это чье дело будет? А?

Дочь помолчала мгновение, потом вдруг сказала с ненавистью, почти в полный голос:

– У меня завтра контрольная в шестых классах! Бабка зашикала испуганно, и все стихло.

На другой день Катя перебралась на половину Семипалого. Он сам предложил, и не понять было – шутит или всерьез. Поживи, говорит, у меня, пока не надоест. А то сожрут там тебя бабы... Пока не надоест... Кому? Кате или ему, Семипалому?...

* * *

Ему она казалась забавной: резкий ее, неустойчивый характер временами – в теплые минуты неожиданно накатившего душевного разговора – вдруг смягчался, прояснялся, как под рукой реставратора сходит налипшая на живописный слой коричневая накипь времени, обнажая кусочек лазури над крышей дома и легкое, как кисея, белое облако, прежде незаметное...

Эти-то перепады – от тихой нежности к хищному оскалу – и щекотали Семипалого, волновали его...

За месяц он одел ее: купил широкий модный песочного цвета макинтош, шубу, обуви три пары и кучу всякого тряпья, от которого она обезумела, опьянела, каждый час меняя кофточку или юбку.

Тряпье – пусть, ладно. Но не больше!.. Никаких драгоценностей, иначе волчонок почует запах крови, и неизвестно – к чему это приведет...

Наверное, слишком много он позволял ей – какую штуку сыграла она со Сливой и этим слизняком Пинцем! Зубами вырвала кусок побольше – сама, не побоялась, напала без предупреждения! Когда в будку его среди дня ввалились багровый от злобы Слива и гадючка Пинц, Семипалый выслушал их и насмеялся от души.

Он любил наблюдать за ней искоса, с удовлетворением отмечая, какая она гибкая, легкая, в какое согласие с голосом приходит все ее тело, когда она рассказывает о ком-то, изображая интонацию, движения, походку человека... И видно было, что совсем не задумывается над этими жестами и гримасами, то есть движима только природным даром.

Однажды вечером она принялась изображать ему трамвайных пассажиров.

То бабая из кишлака, впервые попавшего в город: как проезжает он одну остановку за другой, боясь сойти по ступенькам на тротуар, заносит ногу, держит ее приподнятой и наконец ставит на место. Двери закрываются...

То старый еврей, возмущенный поведением сына, как-то сам вылепливался из ее лица с характерной желчно-иронической гримасой: «Лучше бы он меня зарезал, – я бы это легче перенес! – чем он мне такое сказал!»

То украинский дядька, отягощенный приличным воспитанием, трубно сморкается, потом оглядывает публику и говорит вежливо:

– Звиняйте, это я носом...

А вот забубенная компания возвращается с гулянки к остановке. Полупьяный гармонист, разворачивая свою гармонь, выкрикивает частушки. И пьяная баба выплясывает, подпевая ему в тон. Подъезжает троллейбус... Вскочив на нижнюю ступеньку и вцепившись в поручень одной рукой, баба другой рукой продолжает широко поводить под музыку, одновременно притоптывая и приплясывая на ступеньке. У гармониста фуражка съехала набок, две тетki из той же компании подтанцовывают на остановке. Водитель сидит, скрежеща зубами, так как не вправе тронуть троллейбус, пока эта компания не ввалится в салон. А те, с раскрасневшимися потными лицами, все отплясывают, разворачивая гармонь, голосисто выкрикивая:

Гости ели, гости пили и насрали в сапоги!

Видно, прав товарищ Сталин, что кругом одни враги!

Лежа на кровати, закинув искалеченную руку за голову, Семипалый смотрел на Катю, которая становилась то гармонистом, со съехавшей на ухо фуражкой, то окаменелым от ярости водителем, то пьяной бабой, отплясывающей на ступеньке троллейбуса... Даже лица

пассажиров, мгновенно сменяя одно другим, она вмиг изображала... Хохотал в голос! Даже охрип... Отсмеявшись, сказал:

– А ты актриса, волчонок. Нет, правда! У тебя большие способности. Тебе учиться надо... – Помолчал и добавил задумчиво:

– Да и я способен на большее, чем в будке торчать.

Она прыжком забралась к нему на кровать, растопырила пальцы, будто сейчас задушит.

– Да и не торчи, – сказала она. – Денег у тебя и так навалом.

Он засмеялся невесело:

– А я больше хочу... И тебе не советую деньги мои считать. Ясно?

Она отпрянула, спрыгнула с кровати и, напевая, пошла по комнате кружить...

– Я-а-асна, а как же! – выговорила аккуратненько, улыбаясь своим оскалом.

Она все понимала – про себя, про него, – поэтому тоска отпускала ее лишь для передышки, как цыган своего ручного медведя отпускает на длинную цепь. Понимала, что – не навсегда. Понимала, что для Семипалого она проста, необразованна. Однако не тянулась – хоть как-то наверстать, хоть немного сократить это расстояние.

Вообще презирала всякую натугу. Все ее существо, искореженное детским голодом и страшными смертями близких, было устремлено только к одному – добыче.

Единственно что – любила, когда Семипалый вспоминал боевых товарищей. О дяде Лёше просила рассказывать несколько раз, с подробностями.

– Не пропускай! – просила... – Отец, значит, был из казаков...

– Но опальный! Из казаков его выгнали в 1905 году, за то, что он отказался рубить студентов на демонстрации. Когда искореняли нэпманов и кулаков, его взяли за то, что в Ростове владел двумя домами, – он к тому времени был землемер, непьющий, серьезный человек. Конечно – враг народа, а кто же! Лёше тогда было тринадцать лет, он как сын врага народа тоже загремел в лагерь. Сидел в женской зоне, с уголовницами... Они шили рукавицы, телогрейки, ватники... ну и разыгрывали Лёшу в карты на ночь.

– Бабы?! – ахала она, – мальчишку?!

– Кать, ну я же тебе рассказывал... Потом, когда вышел из лагеря, его направили в военное училище. Ну, началась война, попал он на фронт в звании старшего лейтенанта разведроты. Чуть ли не в первом бою – тяжелый был бой, много людей погибло – его контузило. Он по госпиталям валялся, лечился, опять на фронт попал, но до конца так и звенело в ушах... и бешенство вдруг накатывало – мы уже знали, старались в такие минуты подальше держаться... И вот, сидит дядь Лёша в окопе, чистит автомат, тот на коленях лежит... Вдруг – капитан Несольцев, как черт из табакерки: пойдешь, говорит, со своими людьми опять таким-то коридором. Лёша ему: там же немцы все держат. Дай мне другой коридор!

– Нет, пойдешь, куда я сказал!

Этому Несольцеву, понимаешь, карьеристу, сукину сыну, никого не было жаль.

– Не пошлю я ребят, зазря погибнут!

– Пойдешь, так твою перетак! – выхватывает в злобе пистолет, вскинул его... А у Лёши-то автомат на коленях лежал, он его только что чистил. Ну и успел раньше Несольцева. Просто успел! Прошил его насквозь... Потом мучился... «Знаешь, – говорил, – понимаю, что был он подлец, мерзавец, все бойцы его ненавидели. Понимаю, что он-то меня точно порешил бы, не успеешь... Все понимаю... Но: ведь сколько я немцев ухлопал! Без счету... Ни один никогда не снился... А этот – что значит свой! – каждые полгода снится»...

Расслабившись, размякнув от ее преданного внимания, Семипалый пускался в институтские воспоминания и, незаметно для себя, переходил на рассуждения – тогда какие-то, враждебные Кате, иностранцы выскакивали из его слов, как черти из бутылки, изрекали глубокомысленную муть. Некий Кант что-то где-то сказал, а другой, с идиотской, как кличка,

фамилией Спиноза, считал иначе... И вся эта абракадабра лилась однообразным потоком, затопляя Катю скукой и безнадежной тоской... А она любила только жизнь, только случаи с людьми, только сильные характеры и поучительные поступки...

Слушала Семипалого с холодноватой отчужденностью, поглядывала насмешливо, а иногда довольно грубо прерывала громким возгласом с французским прононсом, в который вкладывала неизмеримый пафос:

– Энтри-коо-от!

Семипалый осекался, глядел на нее с молчаливым недоумением или цыкал как нашководившему щенку:

– Фу! – добавляя негромко. – Дура...

Именно с этого времени зародилась в ней неприязнь к «шибко умным».

Ничего не могла она поделаться с собой. Что-что, а против себя не шла никогда. Собственный характер волок ее на аркане к несчастьям и одиночеству... Вечная игра с огнем, глупый азартный риск...

* * *

«– ... Мам, а ты послевоенный Ташкент хорошо помнишь?»

– Спрашиваешь!..

– ... а как одевались, что было в моде, прически, танцы-шманцы?...

– А как же, помню, конечно! В те годы вся жизнь в Ташкенте проходила на улице. Особенно по вечерам, особенно в теплое время года... Неторопливо так прогуливались по центральной, Карла Маркса, пары и компании; мужчины выходили в льняных белых брюках-клеваш, дамы – под китайскими зонтиками... Как раз снесли Воскресенский базар – его еще называли в народе «Пьян-базар», – действительно средоточие всякой пьяни, и начали строить театр оперы и балета имени Навои – ты его хорошо помнишь? Имперского величия здание! Архитектор – Щусев, тот самый, автор Мавзолея... Строили его пленные немцы и японцы, причем пленные немцы ходили без конвоя, а пленные японцы – под конвоем. Кстати, один из прорабов, наш сосед, посмеиваясь, говорил, что японцы возмущаются качеством строительства и материалов, чуть ли не с ужасом говорят: «Это здание не простоит и двухсот лет!»

– Слушай, а что носили в то время?

– Девушки – легкие платья из крепдешина, креп-жоржета, набивного шелка и ситца...

А, да, еще были в моде шелковые юбки фасона «солнце», с подтяжками, и платья фасона «кимоно», под горло, с открытыми руками, ну, и надставные плечи, так, чтобы к ушам задирались...

– А душились чем?

– Смотря – кто... Я, по бедности, – духами «Ландыш». «Огни Москвы» были очень популярны, но подороже, шли в синем таком флаконе. Позже появились «Красная Москва», «Красный мак», «Пиковая дама»...

– А косметика? Прически?

– Тогда не было принято... девушки не красились... Замужние, те могли пройтись по носу пудрой «Лебедь белая», ну, губы тронуть помадой... А прически... Многие зачесывали волосы наверх, да еще запихивали их в какую-то сеточку, это очень старило...

Да, так – улица Карла Маркса... На ней всех знакомых можно было встретить; останавливались, обсуждали новости, сидели на скамейках вдоль бульвара – крепкие такие скамейки с приземистыми чугунными ножками, с выгнутыми спинками... Тут же зарождались и рушились романы, вспыхивали семейные сцены, в Сквере собирался кружок болельщиков

футбола, оттуда несло оживленное обсуждение очередного матча: спортивные термины вперемешку с матом.

– А танцы-шманцы?

– Ну, в ОДО, в Окружном Доме Офицеров, трижды в неделю работала танцплощадка – в среду, в субботу и воскресенье, с 9 утра до позднего вечера... Плати рубль и танцуй себе, сколько влезет – танго, фокстроты, вальсы... Ты что, не помнишь парк при ОДО? Он огромным был, очень зеленым, с экзотическими растениями, розарием, клумбами...

– Там ведь и летний кинотеатр был, и эстрадные артисты с концертами выступали?...

– ...а по вечерам у входа в парк играл духовой оркестр ОДО. Обстановка была страшно романтическая: звездное, прекрасное ташкентское небо, все напоено влюбленностью... Замечательная музыка издали кружила, – например, вальс «На сопках Манчжурии»... Так молодёжь зазывалась в парк: офицеры, солдаты, студенты... Понимаешь, время еще было довольно тяжелым, те, кто вернулся с фронта, – наше поколение, – учились, работали, все еще недоедали и недосыпали... но как-то все же по-своему были счастливы. Многие были уверены, что мы живем в самой прекрасной стране, которая победила мировое зло фашизма, ну и так далее...

– А вы что, все идейные были?

– Как тебе сказать... Те, кто умел думать, обобщать... да просто – видеть, понимаешь, просто видеть – это ведь тоже надо уметь... Например, судьба Нины Закржевской, моей сокурсницы: ее отца – он был начальником Среднеазиатской железной дороги – арестовали в тридцать седьмом и сразу расстреляли. А мать взяли через месяц. Остались девочки – Нина, ей было двенадцать, и старшая Наташа, четырнадцати лет. От них шарахнулись все родственники, за свои шкуры испугались. Квартиру отобрали, девочки оказались на улице... Взяла их к себе узбечка, молочница. И сестры прожили у нее на балхане год, пока Наташа не пошла работать. Она и Нину вытащила, заставила поступать в университет... А мать их нашла, еще когда сидела. Выжила – знаешь за счет чего? Она закончила Бестужевские курсы, а бестужевки учили стенографию. Так что в лагере она оказалась единственной стенографисткой. Этим подонкам, лагерному начальству, надо было стенографировать все их сходки. Так вот, она выжила благодаря стенографии... Смешной в этой истории эпизод: старшая ее дочь, Наташа, вышла замуж за хорошего парня. Ну и зять написал незнакомой своей, заочной лагерной теще письмо – как, мол, любит ее дочь и все силы приложит... и так далее. В ответ мать присылает настоящий разнос: «Наташа! Обращаю твое внимание на то, что в письме твоего мужа допущены две синтаксические ошибки! Это недопустимо! Поработай с ним!»... А освободилась она, когда мы учились на четвертом курсе... И это тоже, скажу тебе, история... Она просто написала дочерям, что, мол, скоро приеду... но не назвала точной даты. Когда поезд подъезжал к Ташкенту, продала на какой-то станции пальто и на эти деньги – прямо на вокзальной площади – зашла в парикмахерскую, сделала завивку, маникюр... И только тогда поехала к дочерям. А?!

– Вот это женщина!

– ...а на другой день мы, сокурсницы Нины, купили огромный букет бульдонежей, помнишь, белые такие шары-цветы, весной продавались в ведрах на каждом углу... и пошли к ней с цветами...

– ...ну, это, знаешь, тоже поступок нехилый...

– Да нет, в Ташкенте как-то было... легче жить... Мы меньше боялись... Может, солнца было много, а в нем ведь, как теперь выясняется – серотонин содержится, да? – ну, тот гормон, что лечит страх, облегчает сердце... Так вот, это солнце, эти платаны в парке ОДО... листья величиной с тарелку... музыка танго...

– Мам, а под что еще вы танцевали?

– Под «Брызги шампанского», «Утомленное солнце», «Дождь идет»... Под «Рио-Риту»... Еще пели: «Если любишь – приди, если хочешь – найди, этот день не пройдет без следа, если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда»... А заканчивался вечер танцев таким фокстротом, он назывался «Вышибальный – по благу». Никто не знал его настоящих слов. Кто-то из пошляков сочинил что-то эдакое: «По благу, по благу, сестра пульнула брату, а мама – адвокату, и все пошло по благу. А папа сердится и все ворчит, а мама лыбится и все молчит»... Такую вот белиберду напевали себе под нос в заключение вечера...

– А я помню, у соседей была радиола и футляр веером, там лежали пластинки...

– ...ну, ты-то все время пела! Уже в три года ты исполняла «Бэса мэ мучо» очень музыкально...

– А еще, помню, однажды вы взяли меня на последний сеанс в летний кинотеатр при ОДО, на фильм... – не помню названия... – там играла страшно популярная Симона Синьоре!..

– «Путь в высшее общество» назывался... Да, были сумасшедшие очереди, с милицией... А ты что, правда все это помнишь?

– ...еще помню фильм с концертом Ива Монтана; я сидела между вами на длинной скамейке, болтала ногами и, задрав голову в открытое небо с обалденными звездами, слушала, как он поет эту, твою любимую – «Опавшие листья»...

– О-о, да-а-а... «Листья летя-ат, сад облета-ая, низко к земле-е прислонился ду-уб...

– «...слова любви не замира-ают, они готовы сорвать-ся с губ»...

* * *

...Когда по утрам ее стало тошнить, она помрачнела и осунулась. Молчала, чуяла, что это – конец. Однажды проснулась от подкатившей к горлу тугой волны, вскочила и, кинувшись в прихожку, вырвала в помойное ведро.

Семипалый еще лежал в полудреме, растянувшись под простыней. Перевитая бинтами клешня лежала рядом покойно, как сверток.

Катя обтерла губы, вернулась в комнату и, как была – в короткой ночной сорочке, – села на стул.

Семипалый приоткрыл глаз, лениво и вопросительно взглянул на нее, опять смежил веки.

– Когда блюю по утрам – это что? – наконец спросила она, не глядя на него...

Помолчали.

– Это ничего, – спокойно сказал он, не открывая глаз. – Договоримся с врачом... Это недорого...

Катя сидела не шелохнувшись. Она и не ждала от Семипалого другого решения. Да и ей ребенок был совсем не нужен. Но даже гнев, даже раздражение, досада подействовали бы на нее не так страшно. Мразь, подумала она, это же твой ребенок, открой хоть один глаз, хоть клешней пошевели... «Недорого... Договоримся...»

– А если не договоримся? – угрюмо спросила она, чувствуя тиканье бешенства в висках, словно уже сорвали чеку с детонатора и взрыв должен последовать неминуемо, хочет того Катя или нет.

– Договоримся, – оборвал он сухо.

«На!!! – она мысленно выкинула руку в неприличном жесте, – я тебе не курица, чтоб выпотрошить меня, когда тебе вздумается!»

Мощное течение бешенства уже несло ее и швыряло, как несет и швыряет щепку в горном потоке.

Она встала, распрямилась, сильно потянулась, до истомы и головокружения, и отчеканила с удовольствием:

– Осточертел ты мне, Семипалый!

Он открыл глаза, сел и с интересом взглянул на нее.

– Да ну?

– Ага. Осто... – она закончила витиевато и непристойно.

– Все, Катерина, – он откинулся на подушку. – Устал я от тебя, ей-богу.

Семипалый еще пытался сохранить спокойствие на лице, но желчь уже разливалась в складках рта, потемнели глаза, отвердели желваки на скулах. Семипалый привык, чтоб ему подчинялись. Слишком он забаловал эту невоспитанную и невежественную девку, слишком много воли дал – сам виноват... Ладно! Пусть катится на все четыре... Но прежде, конечно, надо избавиться от ребенка. Неизвестно, что она выкинет через год, через пять лет. По наследникам он пока не тоскует. Задобрить ее, что ли? Или припугнуть?

Катя, между тем, оделась и, судя по всему, собиралась куда-то основательно – раскрыла свой черный фанерный чемодан и складывала в него вещи стопкой.

– Ты куда? – насторожился Семипалый.

Она подняла голову, скинула с лица прядь пепельных волос и сказала мягко, почти благодушно:

– Я ж тебе сказала – надоел. Тошно с тобой... Командуй вон Сливой... Пинцем... А то вели Жабе убить меня, как вы того, возле будки, убили.

– Заткнись! – он отшвырнул простыню и вскочил на ноги. Сказал врасстяжечку, как тогда, у будки:

– Не горячись, Катя... уйдешь, когда захочешь, как человек. И шмотки все заберешь... Кольцо тебе куплю с камушком... Только уговор – ребенка отсюда не унесешь...

Катя глядела на него с изумленной, застилающей глаза ненавистью. Ах ты, Юрькондратьич, тварь семипалая! Как же ты, между тем, боишься меня! Да и не меня, вернее, а свое же семя! Нет, дружок, и живот от тебя унесу, и оберу, и заложу весь твой гадюшник... Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от могилы на Пискаревке... от подвала эвакогоспиталя... А от тебя, сука семипалая, подавно уйду...

Он осторожно подвигался к ней, протягивал правую руку, говорил что-то, уговаривал... Хотел по-хорошему? Нет, было в его говорке что-то страшненькое.

– Боишься меня? – хрипло спросила она и оскалила гладкие свои белые зубы в улыбке. Отступила, оглянулась мельком – близко ли дверь, – подобралась вся, как для прыжка, и сказала:

– Правильно, бойся! Подпалю я тебя. Не обижайся!.. Вот что хотела сказать.

И прежде чем он кинулся на нее, успела вертким обманым движением, подавшись вправо, ринуться назад, мимоходом лягнув стул в живот Семипалому, шибануть дверь ногою и вылететь на улицу...

...На углу переуллка она остановилась, медленно подошла к Цилиному лотку и, пытаясь унять бушующий кашель в груди, выдавила:

– Циля... налей... чистой...

Мирно тренькнул трамвай за спиной. Двое парней в футболках, в полотняных белых брюках прошли, горячо что-то обсуждая... – и один из них оглянулся на Катю.

– Налей еще... – тяжело дыша, бормотнула Катя.

Циля с суровым интересом наблюдала, как мучительными крупными глотками прокачивается газировка в узкой шее девушки.

– Катя, шо ты желтая, как моя жизнь? Поговорили за политику? – Циля бросила взгляд на лоскут оторванного рукава Катиного платья. – Зашьем тонкой иголкой, сам черт не заметит...

– Циля, они меня убьют! – тоскливо и трезво проговорила Катя. – Налей еще... – взяла из рук Циля стакан и, согнув ногу в колене, осторожно обмыла газировкой окровавленную ступню.

– Н-на, – сказала Циля, отрывая полосу от полотенца, – перехвати пятку, шоб зараза не попала.

И, вздохнув, добавила просто:

– Ну, шо тебе сказать, Катя? Раскладуха у мене найдется...

... Вот только жила Циля в соседнем переулке, и это было из рук вон плохо – в любую минуту могли выследить Катю холуи Семипалого. Впрочем, особенно попереживать по этому поводу Катя не успела: вечером того дня, когда Циля привела ее к себе в комнату, – угловую комнату длинного кирпичного барака, – Катя свалилась с высокой температурой, замолочила чепуху: про какого-то ребенка, которого надо куда-то убрать, словом – горячка не горячка, а что-то вроде того.

Лежала беспомощная, жаркая, обливалась слезами и часто звала какого-то Сашу, уговаривая его на лодке кататься.

Вот такое еще удовольствие на бедную Циляну голову! Главное, неизвестно – заразная она, Катя, или нет. Тут же дети бегали – Розка и Вовка. На ночь Циля забирала их к себе в постель, и перед сном они возились с приглушенным смехом, отпихиваясь друг от друга кулаками и коленками, поскуливая.

– А ну, ша! – грозно шикала на них Циля. – Больной человек в доме!

Ко всем еще прочим радостям образовался у Кати нарыв на той самой пятке, которой она на стекло напоролась. Вечерами Циля проводила сеанс лечения: кипятила на примусе воду в тазике, командуя Розкой и Вовкой, посылая их в аптеку то за стрептоцидом, то за свежими бинтами. Подтаскивала к раскладухе тазик с горячей водой, цепко хватала Катину ногу за тонкую щиколотку и опускала в воду, не обращая внимания на стоны и крики. Парила, спокойно сопя, удерживая дергающуюся от боли ногу в тазу.

– Молчи, холера! А то в больницу сдам...

Среди ночи Катя иногда приходила в себя, приподнимала голову, старалась понять – где она и, вспомнив, что это Циля лежит там, тюленьей тушей, на кровати, звала испуганно:

– Циля!

– Ха?!

– Дверь заперта?!

– Заперта.

– На засов?!

Циля, сопя, поминая чуму и холеру, сползала с высокой кровати и шлепала к ведру с водой.

– Пей! – приказывала она, поднимая могучей ладонью Катину голову и поднося к ее губам холодную скользкую кружку. – На засов, на замок, на цепочку, на швабру, на веровку.

И Катя опять роняла голову и уплывала в тоскливые парные туманы, чтобы часа через три, на рассвете, опять всплыть и вскрикнуть:

– Циля! Дверь заперта?!

... Однажды, очнувшись, она увидела над собой литую Циляну грудь и проговорила слабо:

– Циля, найди врача. Надо сделать аборт.

– Кому? – спросила та, отплывая в противоположный угол комнаты и окутываясь клубами тумана, как вулкан Везувий на старой открытке.

– Семипалому... – пробормотала Катя, уронив голову на подушку.

Днем дежурить возле Кати оставались дети. Двое курчавых, как негритята, смешливых чуда-юда: Розка-Вовка.

Катя открывала глаза и спрашивала верткую кудрявую головенку:

– Розка, дверь заперта?

– Кать, я – Вовка.

– Вовка, запри дверь на засов...

– Да она заперта сто раз, – отвечал тот, косясь в открытую дверь барака на зовущую зеленую траву во дворе, на теплые круглые камни в пыли.

– Опять песня с тою дверью... – тихо докладывал он вечером матери, и они с Розкой прыскали, переглядывались, а Циля хмурилась.

Розка, которая пошустрее была, как-то спросила:

– Кать, а зачем дверь на запоре держать?

Та помолчала... Лежала уже дня два в полном сознании, но слабая до того, что кисти рук чугунными казались.

– «Остров сокровищ», кино – видела? – спросила она серьезно. – Пират может явиться, с черной меткой...

Розка подвинулась ближе, заволновалась кудряшками и спросила испуганно:

– А разве сейчас пираты бывают, Кать?

– Бывают, – мрачно ответила та.

... И явился...

Катя уже поднималась и даже старалась чем-то помочь Циле по дому, – то посуду перемывает, с песочком, что брала тут же во дворе, то залатает какой-нибудь пододеяльник, который Циля собралась уже на тряпки рвать, а вот надо же – еще послужит. (Тетя Наташа, светлой памяти! – как же пригодились твои заботливые уроки рукоделья!)

Они уже обо всем переговорили, и ясно было, что время они, как сказала Циля, – «проворонили».

– Но живучий, ты глянь, цепко держится! – удивлялась Циля, вроде бы даже одобряя существо, квартирующее в Кате. Сама-то она понимала толк в живучести. – Через такую горячку продержался! Пусть живет, босяк, заслужил!

Странную Катину болезнь она упорно называла белой горячкой и гордилась, что не сдала девушку в больницу, а выходила сама, хоть и намаялась порядком.

* * *

Между тем пора было от Циля отчаливать – не сидеть же всю жизнь на ее, пусть и могучей, шее, а Катя и не привыкла зависеть от кого бы то ни было и про себя твердо решила, что Циле за ее душевность отплатит сполна.

Возвращаться на кенафную фабрику ей не хотелось, и Циля обещала поспрашивает и узнать – куда бы можно было приткнуться до родов. О предстоящем Катя думала с тоской и неприязнью. Подолгу сидела, мрачно уставясь на какой-нибудь табурет или тарелку, словно изучала, как они сработаны. Циля на нее покрикивала:

– Не думай! – приказывала она. – Маланхольник родится! Кате, честно говоря, было все равно – какой он родится – веселый или «маланхольник»; веселому ему вроде не с чего быть, а вообще, она бы дорого дала сейчас, чтобы он вдруг растворился, исчез в загадочных недрах ее организма. И кому отомстила, дура? Семипалый будет жить, как жил, припеваючи, а ты, с этим кульком на руках, – куда денешься, и кому нужна? Конечно, надо было согласиться, когда он уговаривал, и содрать с него побольше денег, и уехать отсюда – куда веселее. А куда – веселее? Может, к морю... Вон, в Цилину Одессу.

– Циль, – спрашивала она. – У тебя в Одессе остался кто?

– Ага, могилы... – охотно отзывалась та и пускалась рассказывать о погибшей сестре, близнеце. Какая это была сестра! Всем сестрам сестра! Бухгалтер, не ктонибудь. Главный бухгалтер завода! Как ее люди-то на заводе уважали... Через эту свою честность кристальную, идиотскую, и пропала. Какую-то зарплату кому-то недовыдала, а немец уже вошел в Одессу. Ну, и не успела эвакуироваться с этой чертовой зарплатой! – и зорко взглянув на Катю, привычно цыкала:

– Не думай, я говорю! Не думай! Носи, холера, как тебе положено!

Так что Катя уже успокаиваться начала и даже во двор выходила, посидеть на лавочке, когда вдруг появился Слива.

Возник из-за кустов сирени, вышел, деловито поддергивая штаны, словно во двор по нужде заходил, а теперь пойдет восвояси.

На самом деле он, конечно, выжидал за кустом, когда Циля к своему лотку уплывет, а Розка и Вовка разбегутся гонять по арыкам.

Тащил на себе Слива большущий узел, и по этому узлу Катя поняла, что пришел он «по-хорошему».

– Здравствуй, Катя! – приветливо воскликнул он, подмигивая красноватыми отечными глазками...

Она молчала. Страх не было, вот что удивительно. Наверное, отбоялась, вычерпала страх до донышка, когда барахталась в тоскливых парных туманах горячки.

Она смотрела на тщедушного Сливу и понимала, что этого Семипалый на мокрое дело не стал бы посылать. Вот разве – черную метку принести. Значит, есть еще время...

– В дом не зовешь? – спросил он, криво улыбаясь.

Катя молча поднялась с лавочки и, толкнув дверь, вошла в барак. Слива – за ней, с узлом за плечами.

В комнате он присел на краешек табурета, словно показывая, что он – так, на минутку присел, и сказал, поглаживая колени растопыренными ладонями:

– Ну, Катя, погостевала у чужих и будет. Собирайся домой.

– Это куда – домой? – ровно спросила она с непроницаемым лицом.

– Как – куда? К Юрькондратьичу... дрёбаный шарик...

– А что за тюк ты принес?

– А!.. Так это ж... – он сбросил на пол узел и торопливо подпихнул его Кате. – Вещи твои... Кать... Шуба, платья, там, кофты-мофты всякие...

И пока она развязывала узел, разворачивала его, – все там было; внизу, под шубой, лежал завернутый в бумагу паспорт, – говорил торопливо:

– Юрькондратьич послал... Беспочуйся – как ты, мол. Без вещей, разута-раздета... Деньги велел передать... – Он полез в карман пиджака. – Вот... Полкуска...

Катя сказала насмешливо:

– Деньги, это хорошо. Давай сюда...

Забрала пачку и спросила, следя за его лицом, за суетливо шныряющими отечными глазками:

– А это как же получается, Слива... – вроде и зовет он, а тут же вещи отсылает. Хитрая какая-то штука. Деньги-то зачем, если назад зовет?

– Так это... дрёбаный шарик... – он тарасил глазки, отдуваясь и старательно играя задушевное беспокойство Катиним положением. (Плохо играл. Эх, Семипалый, дрянцо твои порученцы!)

– Это уж... как тебе вожжа попадет... – он засмеялся натужно... – Юрькондратьич так и сказал – мол, неизвестно, захочет ли вернуться, а вещи все равно отдай, потому что не намерен Юрькондратьич мелочиться с тобой, Катя...

Он даже вспотел, исполняя обязанности парламентаря.

– Только ты, Кать, пойдем! Очень он просит. Истомился... Катя молчала, переводя взгляд с узла на Сливу, на его руки, поглаживающие колени.

Все поняла вдруг, в секунду. Вдохновение какое-то накатило, или черт его знает, как это назвать. Молчала, потому что мысленно проверяла еще раз план Семипалого, и удивлялась себе – что сразу разгадала. Неужели она умнее Семипалого?

– А что, Жаба вернулся? – наконец спросила она кротко, не глядя на Сливу.

– Вернулся Жаба, – кивнул тот. Расслабился, старый болван. Решил, что дело готово, ну и болтанул лишнее. Запнулся, вскинулся настороженно:

– А чего ты – про Жабу? Чего тебе – Жаба? Ты, Кать, не бери худое-то в голову. Ошалела ты совсем, Кать! Чего ты?!

– А то, – сказала она спокойно, проводя языком по растянутым в полуулыбке губам, – что пойду я с тобой к Семипалому, а там меня Жаба дожидается. Он же у вас заплечных дел мастер?

Слива оторопел, кровь кинулась в лицо. Дьявол-девка!

– Тьфу, дура! – крикнул он. – Чего выдумала, дура!

– А ночью на огороде закопаете, – продолжала Катя. Лицо ее было совершенно спокойным. – Или в уборную спустите – вот это уж точно не скажу... А сунется милиция – так он в полном порядке: расстался с Катей по-хорошему и вещи отослал, и деньги она взяла... и Циля подтвердит, что деньги – вот они... А Жаба опять на год сквозь землю провалится... Придуманно складно...

– Психованная ты, Катька!

– Складно придумано... – медленно повторила она... Ярость поднималась в ней, как газировка в откупоренной бутылке. – Только передай Семипалому, чтоб Гегеля хорошенько учил.

– Кого? – нервно спросил Слива, напрягаясь запомнить незнакомую еврейскую, как он понял, фамилию и думая, что для дела это очень важно.

– Или еще кого-нибудь с его этажерки.

Взгляд ее упал на узел, оттуда торчала голубая лямка бюстгальтера. Она вдруг хохотнула, дико, озорно:

– Слива! – крикнула, смеясь, – ты же лысый, Слива! Что ж ты без головного убора ходишь, голову же напечет! На тебе чепчик!

Вскочила, выхватила из развороченного узла лифчик и с размаху нацепила его Сливе на голову.

– На память! Чтоб помнил меня!

Тот от неожиданности не сразу стянул с лысины эту срамоту. И когда снимал, запутался ушами в лямках и застежках. Встал с табурета, остервенелый, и перед дверью пробормотал, трясясь от злобы:

– Ну, повеселись, повеселись чуток...

Она подскочила к нему и еще громче захохотала, истерически, в его красные свинячьи глазки, и хохотала долго, топоча ногами до изнеможения, чтобы Слива слышал ее веселье, пока идет по двору.

Потом смолкла на мгновение, прислушиваясь к тому, как шумно разгоняется кровь по венам, стучит в висках, бухает в сердце.

Отерла слезы.

– Все! – приказала себе шепотом. – Быстро! Быстро-быстро-быстро!

В ее распоряжении были минуты. Сейчас Слива побежит и доложит, что дома она одна. Катя обулась, завязала в узелок кофту, два платя, кое-что из бельишка. Все остальное – шубу, юбки-кофточки, ботики новые, красивые, оставила в узле на кровати. Отсчитала из пачки двести десятками, помедлила и забрала себе еще сотню. Двести положила под сковородку, рассудив, что так Циля найдет их сегодня же вечером. Оторвала из Розкиной тетради клочок бумаги и, торопясь, послунывля химический карандаш, написала: «Циля это всё тебе продай или детям перешей. Прости не прощаюс убьют гады хороший ты человек. Катя».

Приникнув к солнечной щели в дощатой двери барака, она зорко оглядела двор.

Все было тихо. Две старушки в углу двора сидели на лавочке под орешинной, пацан прогрозотал на самокате...

Она выскользнула за дверь, торопливо заперла ее, поминутно оглядываясь, оставила ключ – как Циля делала – под ведром, и не к остановке направилась, а в соседний переулок, и долго бежала, вроде бестолково, петляя. Несколько раз, свернув за угол, прижималась к стене, – как разведчики в фильмах, – проверяла, не висит ли кто на хвосте.

Потом, очень довольная собой, выскочила на дорогу, остановила грузовик и, узнав, что водитель едет в Джизак, быстро взобралась в кабину.

12

Горящая свеча жила своей трепетной жизнью. Собиралось вокруг черной нитки фитиля желтое прозрачное озерцо растопленного воска. Вот уровень его повышался, почти затопляя фитиль; желтое копые пламени валилось набок, и струйка воска устремлялась по мягкому желобку вниз; копые пламени выпрямлялось и вновь выхватывало из угла круглый бок железной печки. Капля воска продолжала свой путь: стремительно выбежав из озерца, она катилась по белому стволу свечи, туманясь на ходу, набухая, и наконец сползала к основанию, на блюдце, и застывала там круглой приплюснутой виноградиной. А вдогонку ей катилась уже другая, наплывала сверху, и вскоре целая виноградная гроздь лежала на блюдце с огарком истопленной свечки вместо черенка.

Верка преграждала путь бегущей капле, подставляя палец, и когда, ужалив раскаленным воском, капля застывала на пальце, словно вращалась в кожу, девочка подолгу внимательно рассматривала застывшую парафиновую бусину...

Горящая свеча была радостью. Вокруг ее лучистого тепла возникал ореол ровного доброго света, – такого разного с изнанки: синеватого споднизу, ярко-оранжевого в ширину и уходящего алой пикой ввысь...

Когда робкий и живой лепесток пламени угасал, захлебнувшись в лужице воска на блюдце, черная и густая ночь валилась в комнату. Вера не боялась этой шевелящейся тьмы. Она покорно поворачивалась на бок, подтягивала ноги и закрывала глаза, хотя их можно было и не закрывать, – кромешная темень стояла вокруг кровати бесконечно высокой и неохватной стеной.

Мать приходила поздно. Часто Вера и не слышала, как она подваливалась рядом, – горячая и усталая. Но даже и во сне бессознательно вцеплялась маленькой рукой в материнскую сорочку, забирая побольше материи в кулак, и так спала – уже спокойная. Невозможно было отцепить ее.

Более всего в детстве Верка боялась потеряться.

Мать несколько раз забывала ее – на рынке, в магазине. Она никогда не брала девочку за руку. Поэтому, если шли куда-то, четырехлетняя Верка вцеплялась в материнскую юбку мертвой хваткой и бежала за ней повсюду, как собачонка, даже в общественный туалет на улице. Мать, раскорячившись над зловонной дыркой в цементном полу, раздражалась, била

по кулачку дочери – все было бесполезно. Дочь стояла и чинно ждала рядом, не отпуская подол юбки.

Этот панический ужас перед толпой чужих людей, которым дела нет до ее маленькой жизни, сохранялся в ней долго, да так и осел в душе, – неприязню к большому скоплению народа, будь то воскресная толкучка на ташкентском ипподроме, или давка за билетами на модный спектакль, или – тридцать лет спустя – толпа на открытии ее персональной выставки в Людвиг-музее, в замечательном городе Кельне, когда, спустившись в бар, до закрытия просидела над коктейлем одна, в глубокой нише, где и разыскал ее Дитер, так много сил отдавший этой первой ее выставке на Западе, и, кажется, впервые по-настоящему озадаченный ее мучительно тяжелым нравом.

Еще девочка боялась своей тени – маленького черного зверька, который мог притаиться у ног и неожиданно выскочить впереди, прыгнуть на стену, кривляться, размахивать тонкими черными руками; мог растянуться кишкой, стать на ходули, кивать маленькой злобной головкой; тень была живая и таинственная. Девочка постоянно ждала от нее какой-то недоброй выходки. Когда вечерами мать уходила, оставив свечу на табурете, возле кровати, тень выныривала на противоположной стене комнаты – лохматая, огромная, и молча ожидала, когда Вера взглянет в ее сторону. Но Вера была умной и осторожной девочкой, она не смотрела на тень, не желала той давать повод демонстрировать свои отвратительные штучки.

Уютная эта комната с круглой печкой была первым жилищем, которое Вера запомнила. До этого она не могла ничего помнить, хотя впоследствии, в хорошие минуты, мать и рассказывала довольно подробно о жизни их в Джизаке, и спрашивала разочарованно: «Не помнишь? Неужели не помнишь?»

Смешным и трогательным мифом остался Федя, акушер, который влюбился в новорожденную Верку, приходил ее пеленать, приносил кормить, говорил:

– Давай я женюсь на тебе, Катя, больно девку отдавать не хочется! Щекастая какая, глазастая!

Мать усмехалась холодно:

– Забирай так, она мне даром не нужна. Да и ты не нужен...

Федя-то и дал девчонке имя, – тем более что мать как-то не задумывалась об этом... родилась девка, не урод, не недоносок, ну и ладно...

– Назови Верой, – предложил Федор, умильно наблюдая, как поршневыми движениями круглых щек младенец высасывает обильное Катино молоко... – Сейчас все Наташами да Светами называют... еще Маринами... На прошлой неделе три Марины выписались... А Вера... это высоко, Вера – это правда, это то, что тебя над грязью держит, не дает упасть...

– Ну, пусть Вера, – равнодушно согласилась Катя... – А отчество свое дам, как у меня будет – Семеновна... пусть папа хоть так поживет еще...

Никогда не рассказывала она только о том, как накануне выписки из роддома, вечером, Федя пришел к ней в палату, как сказал, – «попрощаться». Поставил на тумбочку коробку духов «(Красная Москва)», побалагурил немного... Потом замолчал... Наконец проговорил:

– Ты, Катя, прости меня, если невпопад... Я вот что... ты что ль, не шутила, когда говорила, мол, забирай девку?

– А тебе чего? – напряженно спросила Катя.

Он сглотнул с силой, как бы проталкивая внутрь неловкость свою, нерешительность... Наконец сказал:

– Я бы взял... – и заторопился. – Ты не думай, у меня просто обстоятельства такие... Я семейные обязанности справлять не могу, болен, ранение у меня такое, деликатное... А вот ребеночка очень хочется... прямо как бабе... Очень хочется, Катя! Они у меня тут перед глазами таким богатством проплывают... Скольких я принял, скольких на руках держал... и все мимо, мимо... А ты вроде так сказала, что она тебе в тягость... ну, и я подумал... Я бы ее любил как свою, ты не сомневайся! А если б ты когда ее увидеть захотела, то пожалуйста, я не против... А я ж с детьми ловкий, умелый... Я бы тетку из Сызрани привез... Катя! Ты что смотришь так, Катя?...

Катя смотрела на Федю едва ли не с меньшей ненавистью, чем на Семипалого... И этот... отнять, забрать у нее ее собственное, что в животе ее собственном выросло! И так запросто предлагает... Как кило картошки купить...

– А я деньгами тебе помогу, Катя, – забормотал он потерянно, – ты не думай, я же понимаю, что не за просто так...

– Деньгами? – кротко переспросила она. – И во сколько ты мое нутро оценил?

Федя понурился... Уже понимал, что не так разговор повел, сплеховал... Она аж зубы оскалила, мелкие и белые...

– На!!! – и руку выбросила ему в лицо, с силой перебив ее другою. – Получи!!!

Федя поднялся и, безнадежно махнув рукой, пошел к дверям. Но прежде чем он вышел, Катя, схватив с тумбочки и перегнувшись, с силой запустила ему в спину «Красной Москвой»...

Там, в Джизаке, мать вроде бы служила где-то, для отвода глаз участкового, – то ли курьером в каком-то учреждении, то ли вахтером. Но кипучая ее деятельность вне стен учреждения носила, конечно, не столь законопослушный характер: именно тогда, в Джизаке, в этой глухой провинции провинциальнейшей республики, она создала бесперебойную систему оптовых закупок и перепродаж, которой пользуются в западных странах все торговые и посреднические фирмы и за которую в советской державе сидело по тюрьмам множество прирожденных талантливых коммерсантов.

После нескольких рейдов по местным базарам-торжищам она выудила из толпы трех барыг (сама не могла объяснить – почему именно этих, внутренность подсказала) и в течение считанных дней сколотила из них слаженную команду легких на подъем спекулянтов: в Россию поехали накатанной дорогой фрукты, пряности, узбекская расписная керамика, радужный хан-атлас; назад шли икра, копченая колбаса, духи, косметика, сигареты, гжель... Школа Семипалого и «сцены на толкучке» дали обильный урожай.

Свои комиссионные получали все: продавцы местного универсама, завбазами, милиция, проводники в поездах... В особо важных случаях, когда шла партия деликатного товара, мать ехала сама или с одним из барыг... Ей охотно давали в долг здешние цеховики, – она возвращала день в день с процентами. Была вынослива, неприхотлива, с любым представителем местных, дорожных и прочих властей договаривалась по-хорошему в течение минуты. И скудно, но честно рассчитывалась с наемными... Дрожжи нетерпеливой ненависти выражали в ее душе страсть к большим деньгам... к пачкам, кошелкам, мешкам больших денег... а если бы кто-то вдруг спросил ее – зачем? – она бы, наверное, только зубами лязгнула, как хищник, устремленный к добыче.

Девчонка мешала ей, не давала развернуться во всю ширь – это ж надо, какую глупость она сморозила, тогда с Федей! Вот, алчность всегдашняя попутала! Главное – своего

не отдать, как тогда, у хлебного магазина... А если подумать? Была б сейчас налегке – едь, куда хочешь.

Однако вскоре мать сдружилась с продавщицей местного универмага – одинокой и тихой женщиной лет тридцати пяти. Маша – худенькая, гнутая как веточка – разговаривала полупшепотом.

Мать потом рассказывала: «Одна совсем была по причине дефекта – глаза бегали»

– Как это бегали? – удивлялась Вера.

– А вот так: она с тобой разговаривает и всю тебя этими глазками обегает, щупает; они как ртуть бегали, серенькие такие глазки, ни секунды на месте твердо не стояли. Она вообще ни на кого твердо не смотрела. Вот так – и мать изображала Машу, здорово изображала, так, что Вере казалось, что она вроде и помнит ее.

Но помнить Машу она никак не могла, так как в то время ей было полтора года, и вот именно на эту серенькую Машу мать оставляла дочь, когда уезжала дня на два-три с товаром.

Однажды вернулась и... – господи ты боже мо-о-ой! – все пусто... В шкафу только плечики деревянные постукивают. Верка бродила в своей железной кровати по голому матрасу на кривых ножонках, хлюпала мокрым носом и делала ручками «полетели-полетели», приговаривая при этом: «Тю-тю Мася...»

Серенькая тихоня с бегающими глазками подобрала все подчистую, ничего не оставила, даже простынку и наволку с детской кровати сняла. Ложки, вилки, коврик персидский, гобелен с оленями на поляне... все, что Катя успела здесь нажить... Эх, можно подсчитать, да тошно жить... железную кружку, вот, оставила...

Мать кинулась отвинчивать никелированный набалдашник со спинки кровати... Так и есть: свистящая пустота полый трубки тайника... вот она, – камышовая песня в ослиные уши Искандера...

Мать села на пол, возле кровати, и долго сидела, раскачиваясь как безумная.

Верка над головой ее лепетала что-то по-своему, – Семипа-лово отродье, гиря на руках...

А ведь эта гнутая веточка могла не только обобрать ее, она могла и стукнуть куда надо, поскольку обо всех Катиных поездках знала... Могла и стукнуть, чтоб совсем уже Кати не бояться... В том, что Маша отсчитывает сейчас на поезде немалый отсюда километр, она не сомневалась...

Уехать! Одной, сейчас. И – навсегда!.. И чтоб – ничего не помнить. Вот она, за пазухой, – прибыль от последней поездки... Товар сейчас реализуют ее ребята. Ждать ли денег? Опасно. Нет, уехать, уехать! Все сначала. Все по-новому. Учиться пойти. Куда? Все равно... А Верку... Верку соседи подберут, сдадут куда-нибудь, не бросят же умирать живого ребенка...

Она рывком поднялась с пола, перевязала косынку... Оглянулась в дверях.

Верка переступала босыми ножками по голому матрасу, смотрела на нее тихими серыми глазами, отцовскими, которые – из-за четко обведенной радужки – с самого рождения у нее были по-взрослому пронизательными.

– Тю-тю мама? – вдруг спросила она ласково.

Тогда мать завывла – страшно, зло, безнадежно завывла, без слез. Воя и скрипя зубами, обернула дочь своим жакетом, вытащила из кровати и понесла прочь.

В Ташкенте чуть с поезда – первым делом мать бросилась к Циле. Да только «тю-тю Циля!» – как говорила Верка. Соседка по бараку подробно, с обстоятельным удовольствием рассказывала Кате, как пришло Циле письмо из Одессы, от сестры, которую та считала погибшей. Сестра-то, оказывается, спаслась, да еще как удивительно: бежала из расстрельной колонны по пути к яме, забралась в какой-то хлев, зарылась в сене... Но за ней

погнались, и, когда вломились в хлев, конвойный стал штыком все сено ворошить, проверять... И тут, представляешь... боров, который лежал себе спокойно в углу, поднялся, подошел к тому месту, где эта несчастная пряталась, и сверху лег, накрыл ее собой... Конвойные перевертели все сено... да и ушли ни с чем, колонну догонять... Длинное такое письмо, знаешь, интере-е-есное! – прямо как книга написано... И все эти годы, оказывается, она Цилю разыскивала... И вот, нашла! Циля, как письмо получила, дня два ревмя редела от счастья, водой торговать не ходила, а все по соседям таскалась, каждому письмо читала. В три дня расторгвала, что имела, – шифоньер хороший Тосе напротив продала очень дешево, кровать, этажерку, стулья, посуду кое-какую, забрала детей, да и махнула в свою Одессу. Все время повторяла: «Теперь я человек! У меня сестра бухгалтер, не кто-нибудь!»

Соседка рассказывала и все время делала маленькой Верке «козу». Та сидела на колене у матери, смотрела удивленно на рогатую руку и молчала – ей никто еще не делал «козы».

– А знаешь, кто еще уехал-то? – спросила соседка, испытующе и сердобольно глядя на Катю. – Папка ваш уехал.

– Какой еще папка? – зло огрызнулась мать. – Трьюродной фене он папка... – и спустила ребенка с колен. Верка качнулась, шлепнулась на землю, но не заревела. А огляделась вокруг и подобрала камушек – розовый, острый, – стала с ним играть.

– Ну, это уж не знаю я ваших дел, Катя, – соседка вздохнула виновато. – А только уехал он. Как ты сбегла, так он и смылся. Циля поначалу сильно нервничала, думала – он тебя искать поехал. А потом я бабушку Лену на базаре встретила, покалякали – то, се, мол, что-то давно сынка вашего не видать. А она говорит – сынок в Харьков вернулся, там теперь навсегда жить будет...

– А половину свою продал, что ли? – спросила мать.

– Да нет, вроде замок навесил. Бабка Лена говорит – сестра хотела занять, но он пригрозил, чтоб, мол, близко не подходили и даже не надеялись на эту жилплощадь.

– О-ой, – мать засмеялась недобро. – Страхи какие... – и потянулась возбужденно: – Брешет, старая курва! Это от меня она замок стережет... Ага, ну ладно... Посмотрим... Та-а-ак... Хорошие ты новости мне рассказала, тетя Зоя... Спасибочки!

Она поднялась со скамейки и взяла ребенка за руку. – Ногами! – прикрикнула строго и шлепнула по тянущимся к ней ручкам. И поковыляли они со двора...

Соседка смотрела им вслед сочувственно. Раздалась Катерина-то после родов. Шире стала, крепче, руки налились... Пошла небось воевать за жилплощадь. Много вы там навоюете – нерасписанная с незаконной...

* * *

...Бабка Лена сидела в прохладной комнате за швейной машинкой, стрекотала, и время от времени поднималась только мух сшибать мухобойкой – житья от них не было этим летом.

Мать прошла в калитку, перед крыльцом подхватила Верку на руки, поднялась по ступеням на террасу. Здесь в тишине раздавались из комнаты звучные хлопки и ликующий голос бабки Лены:

– А!!! З-зараза! На! – мгновенная тишина и снова серия гулких шлепков: – На! На! На! А?! Х-а-адость!

Мать толкнула дверь и стала на пороге с Веркой на руках. В комнате было сумрачно – яблоня и вишня со двора заслоняли свет в окне.

Бабка Лена с мухобойкой в руке стояла на стуле, куда она, видимо, взобралась для охоты на необъятных прериях потолка. Мухобойка была хорошая, самодельная – крепкая палка с толстой, как подметка, резиной.

– Здравствуй, баб Лена, – сказала мать прищурившись. Старуха так и осталась стоять на стуле, молча глядя на вошедших.

– Что-то... не признала... – пробормотала она. – Катерина, что ли?

– Ну-ну, признавай скорей, – усмехнулась та, опуская ребенка на пол. – Горю нетерпением обняться.

Старуха, судя по всему, не горела нетерпением. Она, кряхтя, слезла со стула и подошла ближе, искоса поглядывая на толстенькую румяную Верку.

– Ну, здравствуй, – сухо проговорила она. – А я уж думала, ты насовсем уехала...

– А вот это беспричинные мечты, – едко засмеялась мать. – Куда мне насовсем уезжать? У меня нигде никого нету. Кроме вас! – добавила она жестко. Бабка Лена пропустила последние слова, бросила на стол мухобойку и сделала озабоченное лицо.

– А Юра-то уехал, Катерина, вот какие дела... И не сказал даже – куда...

– Ой! – притворно испуганно воскликнула мать, – Ой, ну надо же, беда какая – и не сказал куда! – она оборвала причитания и добавила спокойно: – В Харьков он уехал, баба Лена, и хрен с ним. Скатертью дорога, не это важно. Важно, что комната его не уехала. Верно? Будет где жить нам с Веркой. Все-таки дочь его. Внучка, между прочим, твоя, баб Лена. Глянь, ваша порода, исподлюбников.

Она наклонилась и, шлепнув Верку по заду, подтолкнула ее к незнакомой бабке. Но Верка заупрямилась, сунулась мордочкой в подол материнского платья и обняла ее колени.

– Не испугала. У меня таких внуков пол-Ташкента бегают, – возразила бабка Лена.

– Возможно, – с ласковой злостью согласилась мать. – Возможно, бегают. Только от этой ты никуда не убежишь.

Бабка Лена аж зашлась от такой наглости.

Хотела она казаться спокойной и уверенной. Хотела дать понять этой бесстыжей девке, что не на тех напала, нет: на тебе родню! на тебе комнату! на тебе порог! Суровое достоинство – вот что должно было противостоять наглým притязаниям Катки. Но это суровое достоинство как-то осыпалось, крошилось, выдувалось, словно ветром, той силой, незыблемой правотой матери и ребенка, с которой явилась сюда Катерина.

Девчонка обнимала крепкое материнo колeно, запрокинув светлую крупную головку с выпуклым лбом, тянулась вверх, пытаясь карабкаться по Катинoй ноге.

Мать нетерпеливо отцепила руки дочери, легонько отодвинула ее коленом.

– Давай договариваться по-хорошему, – предложила она взбешенной бабке. – Чего нам собачиться? Комната все равно пустая стоит.

Эта ее уверенность совсем взбесила бабку:

– Стоит. Пустая! Только не про тебя.

– А про кого?

– А ни про кого! Уехал хозяин. И ключа не оставил. И точка в разговоре.

– Нет, – тихо сказала Катерина, шагнув к ней, – нет... – и было что-то в ее голосе, от чего бабку мороз по коже продрал, и вдруг вспомнила она, что одна дома, совсем одна. – Погоди, старая сволочь, точки ставить.

Она мягко подалась к столу и так же легко, словно невзначай, схватила мухобойку.

– Хорошая мухобойка, – сказала она вроде бы задумчиво. – Это не Юрькондратьич ли мастерил, случаем?

– Да нет у меня ключа, нет! Чего привязалась?! – пронзительно и испуганно крикнула бабка, не сводя глаз с мухобойки в налитой, крепкой Катинoй руке.

– А я вот сейчас погляжу, – миролюбиво сказала Катерина и со всего размаху хрястнула добротным домашним изделием по стеклянным дверцам буфета. Посыпалось разбитое стекло, зазвенела битая посуда.

– Спасите... – пробормотала бабка Лена, хватая воздух трясущимися руками.

– Бог спасет, – откликнулась Катя и с холодной яростью долбанула еще пару разочков, что под руку попало из бьющегося.

Бабка Лена обмякла и села на пол. Ей уже было не до посуды. Правую половину тела она вдруг перестала чувствовать, а также померкла и половина комнаты, справа. Сердце оборвалось и вдруг сильно стукнуло в ушах, и еще, и еще раз... Она смутно, издали слышала звон и треск, и видела, как встала над ней громадная Катерина и спросила далеким задушевым голосом:

– Дашь ключ? Или огладить тебя разок?

Бабка Лена хотела сказать ей, чтоб не била, что ключа и вправду нет, не оставил, мол, сын ключа-то, но не успела – всхрипнула, задержала головой и завалилась за угол буфета...

...Выронив мухобойку, Катерина стояла над бабкой.

В летней теплой, зудящей мухами тишине возникали и таяли какие-то шумы продолжавшейся жизни – проехал по переулку грузовик, залаяла чья-то собака, хлопнула калитка в соседнем дворе...

– Тетя упайя, – вдруг сказала Верка серьезно, и мать вздрогнула от ее голоса. – Бо-бо тетя...

Между тем достаточно было одного взгляда на старуху, чтобы понять – никогда уже ей не будет «бо-бо».

Она лежала неподвижно на боку, багровым отечным лицом уткнувшись в стенку буфета.

Голос дочери пресек оцепенелую тишину, и мать очнулась – кинулась к Верке, схватила ее в охапку и бросилась прочь отсюда.

В переулке было тихо, сонно, лишь двое малых детишек в тени карагача громко хлопнули глиняным туляем об асфальт.

Катя почти бежала по переулку к остановке трамвая, стараясь держаться в короткой тени заборов. Каждая калитка взрывалась яростным собачьим лаем, и Верка радостно сообщала:

– Собацка!.. – и спрашивала без конца. – А тетя бо-бо?

– Да замолчи, наконец! – крикнула мать и больно шлепнула ее, но тут же сорвав на ходу веточку с дерева, сунула ее Верке. – На вот, цветочек...

– Цветочек, – согласилась покладистая Верка... – А тетя бо-бо...

...К вечеру, исходив и изъездив весь город, Катя сняла комнату в доме, в большом, застроенном одноэтажными жактовскими халупами, заросшем мальвой и кустарником, дворе. Комната была невелика, но чисто выбелена. Стояла в ней широкая, с крепкой сеткой, железная кровать, кухонный стол, покрытый клеенкой в лиловый цветочек, и хороший новый стул. На длинном гвозде за дверью постукивали деревянные плечики... Словом, жить можно.

Впрочем, долго прожить в ней Катя не надеялась. Со дня на день ждала – вот придут за нею, заберут, обвинят в убийстве человека и – прощай, Катя, пожила-порадовалась, будет с тебя. Верку – куда? В детдом Верку. У нас государство насчет детей очень заботливое. Вот пожалела же ее тогда, в Джизаке, не оставила одну в железной кроватке торчать, а, видно, все ж на роду у нее написано без матери расти. Господи, думала она изумленно, и не война ведь, и чего я все под прицелом живу?

Ясно представляла, как впихнут в «воронок», как станет ее допрашивать следователь... Может, даже привезут в тот дом – есть ведь такое, она видела в каком-то фильме, – называется «следственный эксперимент»... Вспоминала, как, мертво уткнувшись в буфет отечным лицом, лежала на полу старуха... Бабку нисколько не было жаль. Дрянь была бабка! Плевать душонка... Но мысль о том, что живая и энергичная старуха до ее прихода строчила на

машинке полотенца и азартно гоняла мух, а после – валялась на полу багровой никчемной тушей, – эта мысль была тягостна...

Но день проходил за днем, промелькнул месяц, а никто за нею не являлся. Это было странно... Катя напряженно ждала, первые ночи даже ложилась не раздеваясь, но с течением дней и недель напряжение ослабевало, как ослабевает с течением времени все – и страх, и ненависть, и любовь.

Она огляделась...

13

Мое летнее детство (а это были неравномерно сменяющие друг друга разные две жизни – летнее и зимнее ташкентское время: зима захлопывала форточки, проклеивала вырезанными из газеты лентами стыки оконных рам и, главное, слизывала все краски, кроме трех – серой, черной и белой, превращая живопись в графику... Кирпичная кладка типовых домов жилмассива Чиланзар не давала глазу особо веселиться, а вечно натирающий шею шерстяной воротник коричневой школьной формы превращал мое зимнее детство в довольно унылую пору. Единственным привалом на пути к весне высилась желтая сверкающая пика новогодней елки, и все блестящие разноцветные шары, вкуче с шариками оранжевых мандаринов в бумажном кульке из-под новогоднего подарка, на короткое время зимних каникул расцветивали жизнь вкраплением цветных пятен... С весны же и до глубокой осени мир набухал запахами, сиял пестроцветьем, дарил полную свободу не обремененного грузом одежды тела, накалялся нестерпимым солнечным блеском, звуками нескончаемых дворовых игр!), – так вот, мое летнее детство изрядно напиталось запахами коммунальных ташкентских дворов.

Целыми неделями летом я жила у бабушки с дедом, в одном из тупиков Кашгарки. То ли по бабкиному великодушию, то ли по недосмотру, летние мои дни были наполнены беспредельной свободой передвижений.

Сейчас страшно вспомнить, насколько мое детство было рискованно вольным.

Разумеется, ребятня окрестных дворов была мне знакома. А в одной семье я просто прижилась. Напрочь не помню – как я попала в ту странную семью, но с изумлением думаю о том, почему зацепилась в ней, что меня там держало, а главное, что заставляло хозяев терпеть бестолковое присутствие надоедливой чужой девчонки, кроме своих-то, Таньки – десяти лет, и Петьки – пятнадцати?

Они снимали мазанку в глубине узбекского двора. Надо было пересечь этот большой, утоптаный, с островками травы, двор, и мимо деловито разгуливающих кур и индюков попасть в тесный закут, нечто вроде предбанника, или летних сеней, в которых к вечеру появлялся понурый осел, неизвестно где пребывающий днем.

Напротив этого загона дверь вела в хибару, поделенную на две комнаты. От двери, как войдешь, – налево печь, и в нос тебе шибает душный запах выварки. На печи круглые сутки в клубах парного тумана варилось в огромных алюминиевых баках детсадовское белье. Печь, с клубящимся над ней паром, была как постоянно и обреченно курящийся вулкан, к которому уже привыкли аборигены в долинном селении...

Комнаты поделены были перегородкой без двери. Да она и не предполагалась, по-видимому... К чему одной семье дверь между комнатами? Два-три стула паслись вокруг обшарпанного стола, над которым висела полка с фарфоровыми слониками и фигуркой Будды, – с ним-то я и вела тайные беседы. Стоило подтолкнуть указательным пальцем невозмутимо улыбающуюся голову пузатого толстяка, как она начинала качаться из стороны в сторону, а иногда вверх и вниз. Эта непредсказуемость реакции меня и интриговала. Он казался мне совершенно и тайно живым. Мы перемигивались. По сути дела какое-то время эта фигурка

была моим божком. Я не то чтобы молилась ему, но доверяла беспредельно. Дождавшись, когда Танька выскакивала в уборную, – а бежать ей было на дальние задворки, – я подкрадывалась к толстяку и шепотом задавала ему вопросы.

– Ага? – спрашивала я. Он соглашался или категорически не советовал предпринимать те или иные шаги...

Еще в этой первой комнате стоял большой сундук. Похожие я видела только в музее Израиля, на выставке концептуального искусства... Гора из таких, наваленных на полу, сундуков представляла символом беженского сиротства...

Во второй, смежной, комнате обстановка была побогаче: плечистый шифоньер и тети Симины железная кровать, с гобеленом над ней. Напротив стоял топчан дяди Васи, покрытый блеклым байковым одеялом... И еще одна роскошная вещь обреталась в этой комнате – трофейный патефон, который нам с Танькой позволялось заводить. Только сначала надо было наточить патефонную иглу о дно перевернутой пиалушки, потом как следует накрутить ручку и:

«Мой Ва-а-ся-я-я... мне все казалось, что это ты-и-и...»

Мы с Танькой по очереди заводили пластинки, а тетя Сима в это время гладила белье огромным чугунным утюгом, время от времени поднимая плоскую алюминиевую крышку бака. Пар вырывался оттуда, обволакивая комнату фантастическим подводным светом, и еще несколько минут жемчуга пара перекатывались под потолком, пока тетя Сима острой палкой крутила и ворочала в баке белье... Где и когда она сушила это невероятное количество простыней, наволочек и пододеяльников, я не знаю, но как тщательно гладила – видела не раз... Руки у нее были морщинистые, красные с синевой... И лицо было в морщинистую сборочку: сборочка улыбки, сборочка плача...

Такой веселой подруги, как Танька, у меня в жизни больше не было! Непонятно – над чем мы смеялись, но хохотали и прыгали как безумные. Скакали по кровати, растягивая сетку, – почему-то нам это сходило с рук. Тетя Сима выдавала нам по ломтю хлеба с луковицей, которую мы макали в соль и наворачивали за обе щеки...

Целыми днями деятельно наводили красоту: выдавливали на доньшко пиалы сок из листьев усьмы, макали в него спичку с накрученной ваткой и рисовали брови «чайкой». Брови были зелеными, прекрасными, заползали на виски...

Время от времени Танька доставала из шифоньера свое богатство, которому я ужасно завидовала и иногда клянчила – примерить. Это был украинский веночек, с настоящими атласными лентами всех цветов радуги... Я в нем была чудо как хороша, просто настоящая украинка, гип-гип гопака! Разлетаются ленты по плечам, сапожки топчут... Я подбегала к Будде, спрашивала шепотом: – У меня такой будет? Ага?

– Нет-нет, – кивал загадочный толстяк, – о нет...

Однажды, когда мы, как обычно, хохотали неизвестно над чем, с улицы раздался странный рык. Он не был похож ни на ослиный вопль, ни на какое бы то ни было извержение духа животного, но это и не человеческий был голос. Нет, не человеческий.

Танька в секунду захлопнула патефон и, крикнув: «Отец пьяный!», – схватила меня за руку и потащила под тети Симины кровати. До этого я только в кино видела, как прячутся под кроватью, и никогда не верила, что там можно надежно спрятаться. Мы распластались рядышком, бок о бок, на полу, под низко свисающей сеткой кровати, и Танька с вытаращенными глазами прижала палец к губам, приказывая мне молчать, а с улицы уже ввалился дядя Вася, с порога матерно костеря на чем свет стоит тетю Симу. Та молчала и, судя по дребезжанию и волоку стульев по полу, кружила по комнате, уводя его от баков – так утка низко кружит над охотником, уводя подальше от гнезда.

Откуда ни возьмись появился Петька, которому, видно, друзья побежали сказать, что отец явился пьяный. Мы лежали бессловесные, застывшие, полуживые от страха, а из соседней комнаты неслись вопли, звуки ударов и грохот перевернутых стульев – Петька в то время уже был крепким парнишкой, мог заступиться за мать...

(Избивать пьяного отца по-настоящему он стал позже, года через два, когда я уже выяснила с Буддой все вопросы, и – бедный мой божок! – он разбился, покотившись от удара слишком широко размахнувшейся Петькиной руки.)

Наконец дядя Вася сник, ввалился в нашу комнату и, вместо того чтобы рухнуть на свой топчан, ничком упал на кровать, под которой лежали мы. Железная сетка прогнулась почти до наших спин... Мы с Танькой не дышали... Это было почти как в фильме про мальчика-с-пальчик и великана-людоеда...

Чуть ли не впервые в жизни, вместе с вибрацией подлинного страха, я испытывала неопикуемый и – тоже подлинный – восторг! Вряд ли в тот момент я смогла бы объяснить причину подобной эмоции. (Но и гораздо позже, когда стала отдавать себе отчет в истоках ненормального стремления вникнуть, внедриться... да попросту влипнуть в сюжет, – я бывала бессильна остановить самое себя на пути к любой опасной, никчемной, да и просто идиотской ситуации.)

Дождавшись, когда раздастся дяди Васин храп, мы – (мальчик-с-пальчик!) – выкарабкались на волю...

В той комнате, которую тетя Сима называла «залой», все было перевернуто. Но белье по-прежнему варилось в баках. Этот алюминиевый кратер, вечно бурлящий лавой белейшего белья, оставался символом устойчивости жизни.

...Недели две после этого происшествия я не показывалась у Таньки, боялась. Потом все-таки потянуло к бездумному ее, легкому веселью, я старалась выманить подружку на волю.

Например, в соседнем дворе можно было жарить голубей. Ничего более вкусного я в жизни своей не ела! Главным было украсть из голубятни – их было по две, по три в каждом дворе – или подстрелить на лету из рогатки голубя, – этим занимались старшие пацаны. А мы, малышня, камнями и кусками кирпичей окружали вытопанное, голое от травы пространство на ближайшем пустыре, разжигали костерок и на железные прутки, уворованные со стройки, нанизывали куски деловито ошипанного и выпотрошенного голубя. И какая бы компания ни собиралась вокруг костра, старшие всегда справедливо делили тушку между ребятами. Дважды мне досталось тонкое бедрышко, хрустнувшее на зубах...

(Кстати, когда много лет спустя я прочитала о том, как в древности, в Иерусалимском Храме, приносили в жертву голубей, рот у меня вдруг наполнился слюной, и тот божественный вкус всплыл на острие вкусовых рецепторов, – чуть прогорклый запах жареного мяса, тонкое бедрышко, нежно хрустнувшее на зубах...)

Но – странно! Тетя Сима, живущая в парном тумане невыносимой своей жизни, очень редко отпускала Таньку гулять. У нее были свои каноны воспитания. Она была уверена, что домашние сцены львиной охоты будут менее вредны для дочери, чем влияние дворовых компаний.

А я потом не раз бывала свидетелем дяди Васиных бесчинств, даже принимала участие в боях; правда, по какому-то наитию, меня он пальцем не трогал...

Мне было по-своему хорошо в этом убогом доме. Раза два я оставалась у них ночевать, укладывалась с Танькой на тети Си-миной кровати, лицом к гобелену, с увлечением разглядывая лебедей и русалку, развесившую золотые свои груди над травянистым берегом ручья...

14

В большой комнате, отделенной от Катиной коридором и кухней, жил с сыном хозяин жактовского домика Валентин Петрович – очень приличный человек с громким учительским голосом. Он и преподавал физику в ремесленном училище, в длинном приземистом кирпичном строении, задним крыльцом выходящем в этот же двор. И сын его, подросток Сергей, рос тут же, при нем, позже закончил ремеслуху, приличным человеком стал...

Вот только мать у них померла три года назад. Собственно поэтому и сдал Валентин Петрович вторую комнату одинокой женщине с ребенком. В деньгах он не особенно нуждался, а вот похлепать иногда домашнего супу хотелось. Так и сказал вначале:

– Видите ли, за комнату я у вас совсем гроши возьму, но единственное у меня условие, Катерина Семеновна, чтоб вы когда мне и Сергею моему тарелку супу налили.

Насчет супа: вот это уже оказались, как говаривала Катя, – беспричинные мечты... Супом разжиться у Кати – как, впрочем, и чем-то другим, – было трудно. Кулинарное искусство, в отличие от всяческого рукоделья, никогда мать не привлекало. Самым вкусным для нее по-прежнему оставался кусок хлеба; кусок хлеба, припорошенный крупной солью, венчал и Веркино бродяжье детство.

Так что если кто и подкармливал Верку домашней едой, то это как раз и был дядя Валя, с обреченной миной шарманщика крутивший ручку чугунной мясорубки и с покорной монотонностью опускавший в ее жерло куски мяса – на котлетки.

Вообще очень хороший оказался человек – дядя Валя. Устроил мать техничкой в ремеслуху, так что все тут под боком было – и работа, и дом, все в одном дворе. Верка освоилась в училище и обжила учительскую. Мать, пока коридоры мыла да звонки давала, усаживала ее на высокий широкий кожаный диван, и девочка боялась сама слезать с него на пол. Путешествовала по дивану на четвереньках. Черная потрескавшаяся кожа была прохладной, извилистой на ощупь... Верка могла бесконечно рассматривать смутные отражения предметов в тускло блестящей поверхности.

На переменах в учительской собирались преподаватели и Верку баловали – то пирожком угостят из своего завтрака, то конфетку сунут. Особенно одна, Юлия Константиновна, учитель географии, нежная такая блондинка с робкими мелкими чертами лица, подсаживалась к девочке и всю перемену с ней тетешкалась. Однажды даже конфуз случился. Верка заигралась и забыла попроситься, так и подмочила карты, которые на диване лежали. Всю Европу подпортила и часть скандинавских стран. Мать как узнала – очень расстроилась, думала, придется за карты платить. Верку отшлепала в учительской, приговаривая: «Просись, просись, стерженок, просись!»

Ничего... Все смеялись. И Юлия Константиновна до слез смеялась и говорила: «Верка осваивает географию!» И карту потом называла – «та, с подмоченной Европой»...

Она же, Юлия Константиновна, придумала, что Верка – рисует. Глупости, заметил дядя Валя, сидевший тут же, за столом в учительской. Что может рисовать ребенок в полтора года, когда еще нет нужной моторики рук? Все они просто портят бумагу, калякают по ней... А вас, Юлия Константиновна, прошу не давать ребенку переводить казенные тетради.

– Валентин Петрович! Рисует, осознанно рисует, уверяю вас! Смотрите, ведь это Кузя!

Дядя Валя спустил очки на крылья носа и поднес к глазам изрисованный Веркой листок. И сидел так некоторое время, задумчиво узнавая в неотрывной линии контур ленивой спины, завершенной изгибом хвоста общественного пенсионера, кота Кузи. Ушки тоже

наличествовали, а вот морды и глаз не было. Но пластика кошачьего движения передана была изумительно точно.

– Это совпадение, – заявил дядя Валя, отбросив листок на стол.

– Да какое совпадение! Вы у нее спросите! Веруша, кто это, вот тут, на бумаге – ты кого рисовала?

Верка доверчиво смотрела серьезными серыми глазами на Валентина Петровича. Из ее носа на губу вытекла прозрачная сопля.

– Ну? – строго спросил он. – Клоп, отвечай – кто тут нарисован?

Она шмыгнула, втягивая соплю, и сказала:

– Обака...

– Как же – облако? – воскликнула Юлия Константиновна. – Ты что, Веруша, это же Кузя, Кузя?

– Кузя, – повторила Верка, вроде соглашаясь. – Кузя – обака...

– Потрясающе! – Юлия Константиновна возликовала. Она много лет безуспешно добивалась внимания Валентина Петровича и всякий раз бывала довольна, когда хоть в чем-то одерживала над ним верх. – Представляете, какое образное мышление? Она соединила в воображении облако и Кузину мягкую шерсть... Катя, у вас очень талантливый ребенок! Купите ей цветные карандаши, пусть рисует.

– Еще чего, – буркнула мать, вытирая тряпкой пыль с директорского стола. – У меня жалованье не чета вашему... На каждое баловство не напасешься...

Странно, что будучи сама талантливым изготовителем красоты, мать напрочь отвергала страсть дочери к рисованию. Может быть, потому, что в любом изделии признавала только практическую пользу. А что за польза – бумагу изводить?

* * *

Года через полтора Катя столкнулась в гастрономе с Лидией Кондратьевной. Вернее та окликнула ее сама и даже вышла из очереди в кассу. Катя сначала отшатнулась, словно от удара, ощутила жар в сердце и обреченную тоску... Но Лидия Кондратьева выглядела очень обрадованной встрече, обняла Катю, сказала:

– А у меня, Катя, мама умерла.

– От... чего? – натужно спросила та, цепенея от тошнотворного ужаса.

– Инсульт. Мгновенно! Я на работе была, а она одна дома. Видно, забралась на стул, мух бить, ну и не удержалась, упала. Да прямо на буфет. Посуда вся вдребезги... Знаешь, прихожу – кругом осколки, черепки, а в углу мама лежит... Вот так... ужасно. Ужасно, что в последнюю минуту с ней никого не оказалось. Может, что сказать хотела, передать...

«Хотела она, как же, – подумала Катя. – Ее и удар шарахнул от ненависти, что я имущество попорчу...»

И Катя проглотила комок ужаса в горле и понемногу разговорилась тоже, хотя и весьма осторожно. Как там Коля и Толя? Спасибо, занимаются оба в техникуме, стали серьезнее и в общем выправляются...

– Кать, – с задушевной интонацией продолжала Лидия Кондратьевна (не притворялась, Катя всегда это чувствовала), – ты же хочешь о Юре спросить? Он, знаешь, подумывает вернуться из Харькова в Ташкент, все-таки, – тебе-то известно! – у него здесь были дела налажены... А там никого почти не осталось... Трудно жизнь строить заново... Но... – Она взглянула прямо Кате в глаза: – Я тебе как женщина женщине, Катя: не жалею о нем. Он дурной человек, хоть и брат мне. Дурной, злобный... Да ты и сама помнишь, как он ко мне, – к родной сестре! – относится. Все не может мое замужество простить. Я же, Катя, вышла замуж за его лютого врага. Вернее за того, кому он сам лютым врагом сделался. И причина-то

какая смехотворная: оба они теннисистами были, в одной студенческой команде... То ли на соревнованиях что-то не поделили, то ли еще какая-то чепуха... Вот уже сколько лет, как мужа нет в живых, а братец все счета со мной сводит... Не стану вдаваться, но бога благодари, что ты от него избавлена!

Катя кивала с сочувствующим бабьим лицом, поднимала брови, ахала, качала головой...

Внутри закаменела вся...

О Верке не сказала ни слова.

Ни слова.

* * *

...Это было время, когда ступала она мягко и опасливо, как затаившаяся рысь, почуявшая легкую и шальную добычу... И счастливую встречу с Лидией Кондратьевной, встречу, снявшую с ее души свинцовую гирьку потаенного страха, расценила как некий благословляющий знак. Хотя вряд ли кто – там, на небе, – мог благословить ее на дело, в которое она входила сейчас осторожно и постепенно, как в дикую горную речку входят – трижды пробуя шаткий камень, прежде чем утвердить на нем ногу...

В дело входила попервоначалу на правах «верблюда» – на мизерных правах простого перевозчика...

...Месяца три назад ее окликнула в трамвае старая знакомая, спекулянтка Фирузка, когда-то скупавшая ворованные на ке-нафной фабрике нитки и материю, – лихая оторва с золотыми зубами, пересыпавшая узбекские слова русским матом. За эти годы она постарела, немного остепенилась с виду. Но клокотала в ней по-прежнему какая-то неиссякаемая радостная злость.

– Катька, ты знакомый как не узнал, джалябкя! Они обнялись...

И на другой день, в назначенное время к скамейке на Сквере, под памятником Карле-Марле, Фирузка привела не кого-нибудь, а Сливу, все того же Сливу, ушедшего и бессмертного, как сама Тезиковка, как Сквер, как древнее ремесло барыги, «не помнящего, – как уверял он, – художого»...

– А я, Кать, сразу понял – кого это Фирузка имеет в виду... И обрадовался, ей-богу! Помню твою хватку, дрёбаный шарик!.. А в нашем деле это – первая необходимость... Часики-то помнишь, артистка? Аксы-балансы-маятники-цифербла-ты?... Часики теперь тикают без меня – отыгранный бизнес... А вот если серьезно хочешь заработать, – милости просим, но будешь по моим правилам играть...

Катя спокойно слушала, даже приветливо пару раз ему улыбнулась. Это мы потом поглядим – кто по чьим правилам будет играть...

Но с легкой руки уже подслеповатого Сливы на долгие годы в многоступенчатом мире этого страшного бизнеса к ней прилепится кличка – Артистка.

15

Вечерами дядя Валя играл на мандолине...

Это был упорный и тяжеловесный меломан. Свой неважнецкий слух он компенсировал деятельной и даже агрессивной любовью к музыке. Склонив голову набок, играл на мандолине «Турецкий марш» Моцарта или «Серенаду» Шуберта, трепеща медиатором, старательно выводя кудрявую мелодию и яростно отбивая ногою такт. Играл всем корпусом, самозабвенно. Трудился и потел. Работал музыку, как свай забивал.

С тем же остервенелым упорством время от времени он приобщал к музыке сына Сергея – длиннорукого, длинноногого неслуха.

Играли они дуэтом – была еще в доме треснувшая по верхней деке старая гитара. Висела она за шкафом на гвозде, на длинной красной ленте, как удушенный. Она и хрипела, как удушенный. Сын должен был подыгрывать отцу вторую партию.

Сергею подобные соприкосновения с миром прекрасного ничего хорошего не приносили. Гитара не держала строй, хрипела, дребезжала. Добряк дядя Валя свирепел при каждом огрехе нерадивого сына.

– На «два и» соль диез!!! – выкатив глаза, орал он фистулой. – Сколько раз повторять тебе, идиот!!! Соль диез!!! Соль диез!!! – и потрясал грифом мандолины.

И казалось, что речь идет о жизни и смерти.

Так же упорно и непреклонно приучал сына к чтению. Сажал на стул, совал в руки книгу и, когда замечал, что в течение часа страница не переворачивается, сатанел, орал и бегал по комнате с ремнем.

Для Верки, которая вечерами околачивалась на половине дяди Вали, это были страшные минуты. Забившись за шкаф, она молча глядела, как бегают с ремнем дядя Валя, как мечется по комнате, переворачивая стулья, Сергей. Оба орал как резаные.

«Убью!!! Идиот!!! Бездельник!!!» – «Папа не нада-а-а!!! Я не буду!!! Я буду!!! Клянись!!!»

Наконец отец настигал сына где-нибудь в углу, между печкой и стулом. Тот сползал на пол, прячась за стул, извивался, непрерывно вопя и защищая голову руками. Ремень шваркал пару раз по кожаной обивке стула, вопли становились и вовсе непереносимыми, у Верки все в животе дрожало и умирало...

Нет, не Сергея ей было жалко, она понимала, что по-настоящему жестоко бить его отец никогда не станет. Но вот что было страшно и нелепо: один человек гнался за другим, и тот, не отбиваясь, падал на пол, извивался и беспомощно вопил. И ничего нельзя было сделать, чтобы изменить это в мире.

Интересно, что когда мать, случалось, лупила Верку и лупила больнехонько – рука у нее была тяжелая, – Верке не было так страшно. Тогда просто не до размышлений – тут как бы вылететь во двор и сгнуться в кустах мальвы и сентябринок.

Мать, когда входила в раж, совершенно безумела, била куда попадала. Больше ладонью, наотмашь – ремня в доме не было. Иногда хватала веник, и тогда удары получались колючими, болезненными.

Верка молчала или поскуливала, зажмуривая глаза, когда веник обжигал лицо.

Мать была данностью, как галера, к которой раб прикован до скончания жизни. Как крепостное право, в котором родился и умрешь. Мать была всегда и всегда была именно такой – орущей, дерущейся, непонятной, несправедливой, но привычной данностью. Освободиться от нее, деться куда-нибудь в те годы еще не приходило Верке в голову, как до поры до времени не приходит в голову рабу поджечь дом господина.

С матерью она жила совершенно отдельной жизнью и никогда ничего не знала о ней. Впрочем, платила ей взаимностью и никогда не рассказывала – где бегала, чем занималась. Может быть, если б мать хоть раз спросила у нее по-человечески, Верка бы и ответила, – не жалко сказать, что весь день на развалинах они ловили с мальчишками скорпионов в банку. Но мать не разговаривала, а покрикивала надсадно: «Где шлялась? Посмотри, во что ты платье изгвоздала, стервенки! Ты с кем болталась?»

– Ни с кем, – привычно, спокойно. Не ответ, а заслонка от надоедливой ругани.

– Это как – ни с кем? Нет, я тебя спрашиваю, сволочь, ты где была?!

– Нигде... – и смотрела спокойно, а то и вовсе не смотрела. И свою долю ударов наотмашь получала как данность, от которой никуда не деться.

Мать была частью мира, основополагающей, краеугольной. Собственно, мир с нее и начался, произрос из нее, как дерево из зернышка. Но – узкий, смутный, разрозненный в начале, мир вокруг Верки с каждым днем раздавался вширь, вбирая в себя новые улицы, лица, слова, вспыхивая новыми гранями, как шлифующийся под рукой ювелира алмаз, – и мать к этому новому миру Верки имела с каждым днем все более отдаленное отношение.

Например, одной из таких, внезапно вспыхнувших, граней, была восхитительная возможность из нескольких черных закорючек составить слово, разгадать это слово на листе в ряду других, и еще, и дальше... много слов, которые в свою очередь могут, медленно наслаиваясь, наезжая друг на друга, спотыкаясь о запятые и тормозя на точках, составляться в неведомый, спрятанный под картонной обложкой, упоительный мир.

Читать Верка научилась лет в пять, совершенно случайно, и впервые азбуку постигла в перевернутом виде.

Дело в том, что она крепко дружила с Сергеем, суматошным, но добрым сыном дяди Вали. У Серого был велосипед «Орленок», классная машина, – нужно было только вовремя подкачивать колеса. Хмуро осмотрев свое выдавшее виды транспортное средство, обеими руками приподнимая и вновь крепко опуская его на землю, Серый хмуро изрекал голосом хирурга, требующего скальпель: «Насос мне, Мышастый!» – Верка пулей влетала на террасу, хватала валявшийся в углу насос и, как верный пес, приносила его к ногам своего кумира.

Гораздо позже она оценила его великодушие в условиях жестоких нравов ташкентского двора: почти все свободное время этот мальчик возжсаялся с пятилетней прилипалой, не обращая внимания на издевки сверстников, – часами возил Верку на багажнике, отбивая ей тощую задницу на ухабах, после каждого болезненного «бздыка» спрашивая через плечо: «Как жопа, Мышастый, цела?»... И Верка, болезненно морщась, стоически отвечала: «Цела!»...

На этом стареньком «Орленке» они облетали, обтарахтели, объюлили весь город; не было таких далей, – от Болгарских огородов до Рисовых полей, от Домбрабада до Греческого городка, – куда бы ни занесло их попутным ветром, и не было такого лотка с газводой, возле которого они бы ни тормознули, чтобы, строго поровну, выпить один на двоих стакан «крюшона».

Лет до десяти главным оплотом и надёжой была для девочки выученная наизусть тощая, с выпирающими мослами позвонков, спина Сереги, позади которой, обеими руками обхватив его впалый живот, она провела самую счастливую пору детства.

Так о чтении...

Когда, распаренный беготней, драками и футболом, Серега садился наконец делать уроки, Верка взбиралась коленками на стул напротив и наваливалась грудью на стол. Так она могла стоять часами, замороженно следя за рукой Сергея, что-то медленно выводящей на бумаге.

Уроки он делал, как все остальное, – бестолково и неряшливо. Часто зачеркивал, бормотал что-то, считал вслух, обморочно закатывая глаза и загибая пальцы. Для Верки это зрелище было многозначительным таинством, как для дикаря темное бормотание шамана.

– «Собака» – через «а» или через «о»? – бормотал Сергей, сумрачно глядя на благоговейщую Верку. – Через «а», – решал он. Верка жадно следила за его рукой, выводящей перевернутую букву «а».

Закончив «русский язык», Сергей принимался за «литературу». У Верки здесь были свои обязанности. Когда Сергей зубрил стихотворение, Верка должна была, перегнувшись

через стол, ладошкой закрывать в учебнике ту строфу, которую заборматы-вал он, дабы не появилось соблазна подглядывать.

– «Мороз и солнце – день чудесный... Мороз и солнце – день чудесный... Мороз и солнце – день чудесный...» – уныло и тупо повторял он. – Что там дальше? «Еще ты дремлешь, друг прелестный... Еще ты дремлешь...» Хренятина какая-то... Что там дальше?

Так однажды Верка приоткрыла ладошку, заглянула в учебник и вдруг прочла:

– «П-о-р-а-к-р-а-с-а-в-и-ц-а-п...»

– Не нуди! Быстрее! – приказал мальчик. – Ладно, на учебник, будешь подсказывать, где запнусь.

Он перевернул учебник и подтолкнул его Верке:

– Давай, чего там «пора»?

Верка, недоуменно поглядев на страницу раскрытого учебника, быстро перевернула его вверх ногами и старательно прочитала: «По-ра, кра-са-ви-ца, прос-нись»...

Сергей несколько секунд глядел на нее, как на считающую собаку в цирке, потом вскочил и крикнул пронзительно:

– Па! Пап!!! Верка читает навыворот!

Прибежал из кухни с газетой в руках дядя Валя – в очках, строгий и деятельный. Верку еще раз заставили читать и так и эдак. Дядя Валя сказал, что случай феноменальный, что Верка жутко способная, и стал тут же, не сходя с места, учить ее читать правильно, покрикивая и даже пару раз легонько съездив ей по макушке. Все трое были в восторге от происшествия...

Недели через две Верка уже сносно читала, а через два месяца, совершенно обезумев от возможности часами жить в сочиненном кем-то, разнообразно прекрасном мире, одну за другой осиливала книжки Сергея, до которых сам он, как презрительно говорил дядя Валя, «еще не дорос».

Мать к этой новости отнеслась подозрительно и враждебно. Ее давняя скрытая ненависть к «шибко умным», унесенная от Семипалого, всколыхнулась с прежней силой. Как она и опасалась, дочь получалась из той же породы, выростала чужой и непонятной – себе на уме, отродье Семипалово...

Но Серега – бестолковое дитя ремеслухи, выкормыш ташкентского двора, – явно гордился Веркиными успехами. Иногда приводил домой пацанов и заставлял девочку громко читать страницу какой-нибудь книжки, до которой у самого, как он объяснял, «руки еще не дошли», и, выждав минуты три громкого торжественного чтения, обрывал Верку по-хозяйски:

– Хватит, надоело. Все ясно! – и пояснял товарищам, таким же прыщавым балбесам:

– Во! Я научил.

Каждый день Верка поджидала его из ремеслухи, сидя с книжкой перед домом на трухлявом бревне некогда могучего тополя. Кора бывшего тополя была изрезана ножичками фэзэушников. Крупно и четко, как-то любовно высечены были матерные слова, а также таинственные имена – Илона, Регина... и застарелая глубокая насечка «попсыра!», неизвестно что обозначающая.

К мату, захламлявшему ее жизнь с детства, Верка относилась равнодушно, как относилась ко всему бессмысленному и бесполезному. Вообще же незнакомые слова, а тем более имена, волновали ее необычайно.

– Герда... – шептала она, разглаживая пальцем сгиб в трухлявой книжке Андерсена «Сказки». – Герда... Кай...

Сергей появлялся – красный, с потным грязным лбом, швырял на землю измочаленный портфель с пришитой и перевязанной изолентой ручкой, опускался на бревно рядом с Веркой.

– Параша по истории... – сообщал он с досадой. – Сука историчка, зануда... Опять от пахана бздык будет.

Верка была доверчивой и вдохновенной зевакой. Она благоговела перед этим балбесом, как благоговела перед жизнью вообще – перед любым ее проявлением. Приоткрыв рот, она рассматривала физиономию с потной россыпью бурых и розовых прыщей, пристально и бессознательно цепко отмечая движение лицевых мышц, мимолетный промельк языка, облизнувшего губы. Она погружалась в странно углубленное изучение вредных, покрытых цыпками и порезами, рук мальчишки, перенимала манеру говорить в нос, презрительно растягивая гласные, – неистребимый говорок ташкентской шпаны.

– Землетрясение слыхала ночью? – спрашивал Сергей. – Говорят, ничё тряхануло... Я дрых без задних ног...

Изучающе глядя на него, Верка повторяла беззвучно впервые услышанное – «без задних... ног»...

Часто в их беседы встревала бурая коровица, пожилая Веркина приятельница с трубным тоскливым гласом. Ее приводили попасть и оставляли привязанной к толстой иве двое узбечат, – место за дувалом, на развалинах саманного дома, было травным и сочным...

И целыми днями коровица лежала на боку под плакучей завесой старой могучей ивы, примяв огромное свое вздутое нежно-бежевое вымя...

16

... А по ту сторону двора тянулся за забором дивный сад, владения одной непростой узбекской семьи. Говорили, что дед, высокий статный старик с густой и ухоженной белой бородой, служил когда-то садовником у царского генерала и получил от него эту землю в подарок. Садовник он был милостью божьей: таких яблок, груш, слив, как в его саду, не встречалось ни на одном базаре. И до сих пор я помню вкус крупной черносливины, забытой осенью на верхушке старикова дерева, сверкающим антрацитом упавшей на ослепительный первый снег.

Старик, бывало, коротко говорил: «Ха-ароший врэмья было! Тэпер такой генерал нету!» – и вздыхал.

Старшая дочь его все ругалась, что места во дворе мало, грозила спилить гигантскую, любимую его грушу. В день, когда грушу спилили, хозяин сада умер...

А под дувалами сидели последние старики в зеленых чалмах, успевшие до Советской власти совершить паломничество в Мекку. Социализм они оценивали скептически. Перебирали четки и кривили губы: «Лучше бы инглиз (англичанин) приишёл!»

Странно, что я помню еще старых узбечек, носивших паранджу. Когда впервые – мне было года три, – в рыночной толпе я наткнулась на этот ходячий египетский саркофаг, который несли бойко скрипучие, узкие черные лакированные сапожки, я страшно перепугалась и заорала.

– Ну что ты! – сказала соседка Маша, тонкая и сутулая, словно согнутая, женщина средних лет со странно бегающими глазами. Она жила в шестиметровой комнате в одной с нами коммунальной квартире, и мама иногда оставляла меня на ее попечение. Маша поступала практически – повсюду таскала меня с собой. Бывало, за день мы с ней и на Алайском закупимся, и к сеструхе в гости съездим (мгновенно накрытый стол, и все как полагается – нарезанное сало, пирог с капустой, водочка: – Маш, налей девке чуток, чтоб отвалилась. – Да не надо, она тихая... Еще мать учует! Оставь...) Она похлопала меня по спине:

– Ты что, это ж просто опа, опушка обыкновенная!

Нет, ни к какой лесной опушке диковатое сооружение отношения не имело!

И этот страшный скрип: ... иду-иду, ногой скриплю... дере-вян-ной ногой... отдай мою ногу, Иван-дурак!..

И лишь какое-то время спустя привыкла не пугаться длинного темного наряда с тяжелой, до пят, черной накидкой из конского волоса. Гадала с замиранием сердца: кто, кто скрывается под этой колючей накидкой? Принцесса? Страшная ведьма из восточных сказок?

Годам к шестидесятым железная тятка советского равноправия успешно выкорчевала мракобесие на огороде дружбы народов. Может, какой-то прок в этом и был: позже кто-то из знакомых эмансипированных узбечек рассказывал мне, что там, внутри, под густым волосяным чачваном, действительно было так темно, что у женщин смолоду портилось зрение...

А с Машей я исходила в детстве множество дворов за самой разной надобностью.

Для меня до сих пор осталось загадкой – чем, собственно, занималась эта очень тихая женщина, – лет через пятнадцать ее задушили ночью в той самой коммунальной квартире, с которой мы к тому времени давно съехали, получив теткинo американское наследство, обглоданное до костей хрущевской Инюрколлегией.

Так вот, обычно Маша оставляла меня играть в чужом дворе и, приказав «сидеть, как проклятая, на этом вот самом месте», – исчезала...

Я набиралась всевозможных впечатлений.

Так, однажды весьма удачно ввинтилась в большую толпу, собравшуюся под балконом нового четырехэтажного дома. Там, на самой верхотуре, стояла очень белая голая женщина, одной лишь рукой придерживая сидящую на перилах девочку моего возраста. Толпа внизу все росла, налипая друг к другу, ширилась, взбухая воплями, жужжа разговором и взвизгивая хихикающими возгласами. А женщина сверху кричала что-то – невозможно было понять на каком языке. Ни одного слова я не понимала.

– Во дает! – крикнул одобрительно кто-то из мужчин. – Во кроет! Э-эх, отчаянная!

– Да просто бесстыжая, вот и все!

– Может, пьяная? Или сумасшедшая... Не знаете, кто это?

– Да, говорят, какая-то мать-одиночка... вроде давно стояла на очереди, ее опять обошли... ну, она сама и вломилась в квартиру... дом, видишь, готовый к сдаче... Замок взломала...

– Грозится, что сейчас бросится вниз... Вон, милиция, видишь – не знают, что делать...

– Да звоните же скорее в горсовет, пусть приедут!

– Чего звонить! Граждане, расходитесь, пожалуйста, вам что здесь, – цирк?

– Да это получше цирка будет, – крикнул, одобрительно смеясь, кто-то из мужчин, – гораздо лучше, а, Гриша?!

В этой толпе меня и разыскала Маша. Взяла за руку, ругаясь, что я чуть не пропала, бесовская, а ей потом перед матерью ответ держать... Маша и сама еще, обшаривая окрестности рассыпающимся взглядом, поглазела на белую женщину, так свободно стоящую абсолютно раздетой и так небрежно придерживающую одной рукой на перилах балкона свою дочь...

Странно: в то время только в бане я видела голое женское тело, совершенно не обращая на него внимания. Еще в папиных альбомах, но все те розовые бокастые тетки были неживыми... А в этом дворе, в этой толпе я бы сколько угодно долго стояла, замороженная видом столь неуместной красоты – очень белая женщина на фоне красной, кирпичной стены дома... Возможно, именно эта картинка и стала первым в моей жизни ненавязчивым профессиональным уроком по извлечению образа из привычной среды?

Маша дернула меня за руку, и мы пошли со двора... А я все думала – наверное, холодно стоять так, босой, на цементном полу балкона?... И только остановившись у тележки с газ-водой и попросив у старухи два с крошоном, Маша вдруг задумалась, медленно сглотнула пунцовой игристой воды из стакана и тихо проговорила, совсем уже не управляя своими рвущимися врассыпную глазами:

– А ведь это Катька была... Ей-бо... – Катька!

* * *

«...О Ташкенте? Погодите... Вы меня враспloch застали... Да и странно, ей-богу, там ведь полжизни моей прошло, как я могу – в двух словах? Давайте я напишу, ладно? Я сочинения в школе писала неплохо, даже учительница зачитывала. И потом, это мысли организует... Ну, и все-таки я какой-никакой издатель, пусть маленького, частного, как говорят здесь – русскоязычного, но уже много лет выживающего издательства... Так что:

«...Лично я родилась в самом центре Ташкента.

Когда расширили Аллею парадов, местную Красную площадь, мой роддом снесли и поставили на этом месте памятник Ленину. Потом, уже после моего отъезда в Израиль, свежие ветра политических перемен смели и памятник, а на пьедестале установили большой стеклянный шар – ташкентцы, естественно, съязвили: «Ленин снес яичко!»

Жили мы на маленькой улице Северной, недалеко от Театрально-художественного института. Архитектурой эти окрестности не блистали: дома – глиняные мазанки... Но было какое-то обаяние в нашей улочке, укрытой зеленью, тихо звенящей арыками...

На плоских крышах спали в жару целыми семьями... А на исходе лета пацаны поднимались на крыши – собирать виноград с тех плетей, которые туда взобрались... Самым вкусным было получить полуподсохшую кисточку уже заизюмившегося винограда из рук сборщиков.

А вообще фруктовые деревья сажались не только во дворах. На улицах тоже высаживали вишневые, урюковые, миндальные или сливовые деревца. Особенно красиво было весной, когда все цвело белым, розовым, лиловым цветом, и осенью было красиво: повсюду красно-желтые листья шуршат... Дворники сметали их в кучи и разжигали на рассвете костры...

Но главная особенность ташкентских улиц – чего ни в одном городе я больше не встречала – это арыки. Они разделяли проезжую часть и тротуар. На центральных улицах их бетонировали, а на всех других – просто бежала вода в глиняных бережках. И поливали улицу этой водой, и прохлада от нее шла. И конечно, в ней играли дети. В жаркий летний день подоткнешь юбку или закатаешь штаны выше колен – и броди босиком по прохладной воде сколько влезет. А еще в арыке можно было набрать глины и поиграть в туляй – это лепешка из влажной глины, ее бросали о тротуар. Если в твоём туляе возникла дырка, можно отщипнуть кусок от соседского и дырку заделать. У кого в итоге получался самый большой туляй, тот и побеждал.

...Вспоминаю наших соседей – кто на этой маленькой улице только не жил, кого там только не было: по официальной переписи населения в Ташкенте обитали девяносто восемь наций и народностей! Стихийный интернационал, «Ноев ковчег»... Удивить кого-то тем, что ты армянин, айсор, еврей, грек, татарин, уйгур или кореец, было трудно.

Молочница, носившая нам козье молоко, была украинкой. К ней однажды приехала в гости дочь с маленьким ребенком. Еврейка бы тут же заявила, что это лучшее дитя на свете. А украинка выразилась откровенно: «Ой, Лыду, яке ж воно в тэбэ дур-нэ!» Стоявшие рядом узбеки тут же закачали головами и сказали, что ребенок выправится. «А я говорю – дурнэ!» – припечатала бабушка.

Как-то мы общались на всех языках понемножку. До сих пор помню, как с соседкой, татаркой по имени Венера, мы убегали от здоровенного гусака и во все горло кричали по-татарски:

«Ани! Карагын!» («Бабушка! Погляди!») Иногда меня «подкидывали» на вечер соседке, узбечке Каят. Та только посмеивалась: «Менга бара-бир – олтилами бола, еттилами!» («Мне все равно – шесть детей или семь!») Несколько фраз каждый из нас знал на фарси, идишскими ругательствами щеголяли на улице с особым шиком; выражение – «Шоб тоби, бисова дытына!» тоже вошло в мой лексикон с детства. В общем, те еще были полиглоты...

Евреи о политике при детях старались не говорить («Ша, здесь ребёнок!»). А греки-политэмигранты о политике могли говорить везде и всегда. Если два грека вцеплялись друг другу в лацканы пиджаков и громко кричали, это не значило, что один оскорбил другого. Это так они говорили «при политики» (о политике). Им было хуже: дети греков понимали все, о чем говорят родители. А еврейские бабушки и мамы для конспирации переходили на идиш. Из чистой вредности я выучилась кое-что понимать. Во всяком случае, когда однажды бабушка принялась мыть косточки соседке Гале (мне было лет тринадцать): «Са ене Галька! Зи шлофт мит цвей мужчине!»), я с лукавым удовольствием поправила: «Бабуля, мит цвей менчн!» – «А ты откуда знаешь?»...

И уж евреи в Ташкенте были всех мастей: ашкеназские, бухарские, горские, крымские. Моя подружка, «крымчачка» Хана, спросила однажды: «А вы какие евреи? Русские?» – «Да, а что?» – «Вы русские, а мы – настоящие». – «Так и мы не игрушечные!» – я никогда не оставляла за кем-то последнего слова.

Когда мною овладевала охота к поездке в трамвае, я начинала канючить: «Бабуль, поехали на Воскресенский!» Так коренные ташкентцы называли место, где когда-то был Воскресенский базар (около Воскресенской церкви, в здании которой разместился кукольный театр). На площади уже давно бил фонтан в форме хлопковой коробочки, и стоял построенный пленными японцами по проекту Щусева театр оперы и балета имени Алишера Навои, а старое название еще жило.

Чего только не было там, на Воскресенском! Петушки на палочках! Разноцветные блестящие прыгучие шарики на резинке!

Вертушки! Солёный и сладкий миндаль в фунтиках! Можно было обойти фонтан кругом, по барьеру, держась за бабушкину руку. Можно было опустить руки в воду и брызгаться. А чтение афиш чего стоило! – «Бабуль, кто такая Баядера?» – «Это не из нашей жизни!»

Однажды моя бабушка – она всегда и всех жалела – подобрала на улице беспризорную бабульку, которая ушла от собственной дочери. Потом конфликт с детьми (опять же стараниями бабушки) был улажен, но какое-то время Зинаида Антоновна жила у нас. Оказалась выпускницей Смольного института и взялась прививать мне хорошие манеры. Это было необычайно забавно! Реверанс делать я выучилась с легкостью. А однажды, когда вернулась с улицы в перемазанных глиной трусах, она нахмурилась и послала меня немедленно помыться и переодеться: «Деточка, запомни: у дамы белье должно быть, как для свидания в Версале!» Что такое свидание, а тем более Версаль, я спрашивать не стала, но фразу эту запомнила на всю жизнь.

Еще более причудливый тип представляла собой наша соседка в доме напротив – Вера Ильинична. Ее муж работал парикмахером, а она вела дом – пироги пекла чуть ли не каждый день. Половину готового пирога делила на кусочки и разносила соседям, умоляя попробовать: на блюде – салфеточка, на салфетке – кусочек пирога. После землетрясения сын увез ее, уже овдовевшую, в Москву. И представляете? – она пыталась угощать своими пирогами угрюмых и замкнутых москвичей, жителей одной из многоэтажных башен на Проспекте Вернадского: звонила в дверь соседской квартиры и стояла на пороге: на блюде – салфе-

точка, на салфетке – кусочек пирога. На нее смотрели как на безумную. Но никакие увещевания сына, что в Москве так не принято, не помогали: соседей надо угощать.

Жили на нашей улице и узбеки.

Участковый милиционер Гафуров обитал неподалеку в своем каменном доме, и как не выглянешь на улицу, – на рассвете или в сумерках, – он идет походкой хозяина то по одной, то по другой стороне...

Напротив жила семья профессора Аскарова. Сам профессор к тому времени сбежал к молоденькой аспирантке, а его первая жена Каромат Исламовна с кучей детей остались в доме. Приходила к нам красавица Каромат, садилась на крыльцо, обмахивалась подолом широкого узбекского платья из хан-атласа, демонстрируя цветные шальвары, жаловалась бабушке на жизнь: «Полина Семеновна, как мне всё это надоелся!»

Вообще взаимоотношения с узбеками были у нас в те времена самые душевные. Помню свою старшую сестру, одетую в узбекское платье с бархатной жилеткой, – она на утреннике должна была танцевать узбекский танец. А я обожала надеть платье с карманами и в праздник Навруз ходить с узбечатами по домам – песни петь, получая за это что-нибудь сладкое.

Или зайдешь к соседке, чтобы позвать ее дочку играть на улице, а она тебе – кусок лепешки в руки, или изюма горсть, или орехов. Или слышишь: «Чой ичамиз!» («Чаю попьем!») Гостеприимство – один из важнейших законов узбекской жизни. И в нас, в европейцев, или, как говорил один папин сослуживец – «колониальных белых», – это тоже с годами въелось, так что стало общеташкентским стилем жизни.

Однажды посадили меня соседи за большой дастархан, плов есть. А я возьми да и попроси ложку. Моя подружка Насиба рассердилась: «Ты что, плов есть не умеешь?» Плов полагалось есть руками, сложив пальцы горстью и подгребая помаленьку к себе. Освоить это искусство – не ронять ни рисинки – было не так-то просто, но необходимо: вдруг позовут на свадьбу или на угилтой – обрезание, а ты плов есть не умеешь! И брезгливость надо отбросить за ненадобностью, если хозяин решил угостить тебя со своей собственной руки. Как говорил наш сосед, дядя Рахматулла: «Кизимкя, кушяй, мусульманский рука чи-и-истий!»

Хотя ради справедливости надо заметить, что восточная гибкость, какая-то восхитительная приемистость к перемене обстоятельств у мусульманских наших соседей поражала уже и тогда, когда этот советский интернационал казался самым прекрасным, незыблемым и единственно верным образом жизни. Одно из наших семейных преданий рассказывает, что в свое время, в 1952 году, когда Сталиным готовилось выселение евреев на Дальний Восток, к нам ночью через дувал перебралась соседка и пыталась выторговать у бабушки дом: «Полина, тебе вигонят и ни копейка денги не дадут. Лучше продай!»

А в хрущевские времена у тех же дувалов паслись бесхозные ослики. Вышел такой идиотский указ – запрет на содержание крупного скота в городских домах. Что делать? Коров прирезали, а ишаков куда? Просто повыгоняли...

Переломным моментом в истории Ташкента стало землетрясение 1966 года. Многие рассказывают, что были трещины в земле, – такого не припомню. А вот как гудела земля перед толчком – помню отчетливо. Бабушка, перед тем как выскочить во двор, аккуратно застелила кровать, и это годы спустя вспоминали в семье с неизменной улыбкой.

Говорили, что не такие уж тотальные были разрушения, чтобы с лица земли весь город снести, но, видно, где-то там, «наверху», решили сделать из землетрясения образцово-показательное мероприятие, апофеоз дружбы народов, не понимая, что настоящая дружба народов – это и было то золотое равновесие, которое являл старый Ташкент, великий Ноев ковчег, в котором ругались, любили, дрались, воровали и праздновали – каждый свои, а заодно и чужие – праздники, и плыл он себе в океане вечности, рассекая волны; плыл, неся на своих

палубах всю свою живность, всех чистых и нечистых, равных и неравных, а главное, всех, кому в нем было хорошо и кто не помышлял покинуть его, палимые зноем, палубы...

Ну и навалились всей страной.

Целые кварталы типовых застроек вырастали на пустырях за считанные месяцы. В центре города поставили бронзовый памятник: мускулистый мужчина в тубетейке, а за его спиной – женщина с ребенком. Он протягивает руку жестом, как бы ограждающим от беды, но слишком уж похожим на отталкивающий.

Сей монумент тут же прозвали: «Памятник отцу-алиментщику».

А к другому памятнику – Юрию Гагарину в одноименном сквере – сочинили эпиграмму: «Тебе, Ташкент, Москвой подарен огромный хрен, на ём – Гагарин». Так-то: нам, ташкентцам, палец в рот не клади! Наш сосед дядя Гриша сходил посмотреть на этот памятник и вернулся недовольный: «Это ж безовкусица!»

Конечно, наша жизнь была не такой идиллической, какой издалека вспоминается. Молодые узбеки пытались приставать практически к любой «европейской» девушке. Пойти, скажем, на ежегодный карнавал можно было только в большой компании, одной – ни в коем случае, замучают приставаниями. Вообще, в Ташкенте были места, куда женщине лучше было не соваться. В частности, в чайхану – это была мужская вотчина. В чайхане не только ели и пили чай. Там и травку покуривали... – вился, вился запашок, отпугивая чужих, – кого, может, и тянуло заглянуть в чайхану, выпить зеленого чаю в жаркий день.

В чайхане, кстати, часто устраивали состязания острословов – «аскию». Один смешное слово скажет, другой подхватит – и все хохочут. А хохотали узбеки так смачно, что непривычные люди на улицах вздрагивали. Высмеять, подшутить – это было в народных традициях, обижаться при этом не полагалось, надо просто немедленно отбрызнуть задиру ответной шуткой. Словом, что-то вроде кавээновской разминки, только без тридцати секунд на обдумывание.

Недавно я вспоминала свои детские книжки издательства «Юлдуз»: герои русских сказок там были уморительно похожи на узбеков. До сих пор помню скуластую Марию-царевну с бровями «чайкой» и слегка раскосыми глазами...

Мне часто Ташкент снится: платаны, карагачи, тополя... воздух его, вкусная вода... Светает, смеркается... – участковый милиционер Гафуров идет по улице...

И все снятся и снятся эти розовые корни деревьев, шепот арыков, нежный шелк струящихся в воде водорослей...

Наверное, человеку свойственна привязанность к местам своего детства и юности... Может, потому, что в них, как в зеркале, как на глади озера, запечатлен твой образ в те годы, когда ты был счастлив... А если и зеркала того уже нет? Если исчезли с лица земли те улицы и здания, деревья и люди, которые тебя помнили? Это неправильно, знает... Города должны жить долго – дольше, чем люди. Они должны меняться постепенно и величаво, строиться основательно и не наспех, улицы и площади называться раз и навсегда, памятники – стоять незыблемо... Это плохо, когда человеческая память переживает память города, да еще такого обаятельного и милосердного города, каким был Ташкент, который всех нас берег и хранил, а вот мы его – не сохранили...»

17

Летом и осенью огромный Веркин двор жил бурной коммунальной жизнью. Посиделки, перепалки, мордобои, сплетни, обсуждения международного положения – все это выносилось на крылечки, на сколоченные из досок и врытые в землю скамейки.

Едва ослабевал азиатский млеющий зной, едва длинные тени от урючин и яблонь сливались и густо застилали щербатые дорожки из рыжего кирпича, из окон домов выползали

черные змеи резиновых шлангов. Толстые и потоньше, скрепленные на стыках белой алюминиевой проволокой, они протягивали к земле раздвоенные языки воды, и земля жадно подставляла под холодные струи сухую горячую спину. И когда прибывалась пыль и напивалась земля, в воздухе возникал и плыл, вливаясь в раскрытые зарешеченные окна домишек, тонкий и порочный запах «ночной красавицы» – маленьких красно-лиловых цветков, похожих на крошечный раструб граммофона.

Из дверей выносились на улицу столики, кресла, табуретки... Кто-то и самовар разжигал...

Двор как кастрюля вскипал голосами, смехом, вскриками, визгом ребятни, окриками матерей, двор гудел, напевал, выплескивал из окон звуки радиол. Бабка Соня каждый вечер просила зятя Ра-шида ставить ее любимую – «На позицию де-евушка провожала бойца...». Он ставил, не мог возразить. Был человеком мягким и уступчивым, хотя и ругачим. Ставил пластинку толстыми своими пальцами долго, сопя, не сразу попадая дырочкой на никелированный штырек, вздыхая и бормоча: «Собака ты, собака...»

* * *

В двух зажиточных семьях уже имелись телевизоры «КВН» – маленькие, с квадратными экранами, с дутыми линзами перед экраном.

Умелец Саркисян иногда пускал «посмотреть» на мерцающий телевизор – если бывал в хорошем расположении духа и в ладу с супругой. В комнату набивался народ со двора, приносились стулья, табуреты, садились друг к другу на колени, полулежали на полу. Саркисян – маленький, верткий, в дырчатой майке и синих бриджах – то и дело ревниво подскакивал к телевизору: «наладить» – подправить линзу, крутануть какую-нибудь ручку. Саркисян гордился собой, своим телевизором, комнатой с синими бархатными порттьерами, суровой женой Тамарой, детьми – Лилькой и Суреном, но главное – телевизором. «У меня „цветной“», – сдержанно добавлял он. Цветной – это делалось так: добывалась где-то твердая прозрачная пленка с тремя цветными полосами, красной, синей и желтой, и лепилась на линзу перед экраном. Таким образом лицо киногероя или диктора новостей, и без того обезображенное линзой, одутловатое, становилось и вовсе жутким – лоб и волосы мертвенно синими, глаза и нос красными, как у вурдалака, а рот и подбородок ярко-желтыми.

Но какой восторг перед чудесами прогресса испытывали все зрители – от бабки Сони до шестилетней Верки!

Саркисян славился во дворе любовью к семье и твердыми моральными устоями. Каждое лето он отправлял жену с детьми к родным в Армению, а сам принимался за ремонт.

– Саркисян опять впрягся, – с уважением говорил кто-нибудь, следя за тем, как ворочает маленький Саркисян большие мешки с алебастром.

– Семьянин! – замечала бабка Соня таким тоном, словно Саркисян носил это звание официально, как звание чемпиона или лауреата. – Семьянин!

Саркисян и вправду обладал выдающимися семейственными достоинствами. Он волок на своем горбу семью сестры жены Тамары, обе четы дряхлых родителей, а главное – опекал и страшно любил своего несчастливого брата Вазгена, инвалида детства. Четырнадцатилетним мальчиком Вазик попал под трамвай. Мачеха послала его за маслом в магазин, он по пути заигрался с пацанами в «лянгую», а, спохватившись, помчался, боясь ее гнева – магазин мог закрыться. Ему отрезало обе ноги выше колен. И это горе согнуло его, скрючило в безвольного злобного алкоголика. Младший брат был главной ношей трудяги Саркисяна. Дважды в день Вазика носили кастрюльки с горячим.

Однажды летним днем, в жару, уже пятнадцатилетняя Лилька принесла ему приготовленную матерью долму. Она отперла дверь своим ключом, вошла и увидела Вазика спящим на балконе. «Понимаешь, – рассказывала она лет пятнадцать спустя Вере, с которой до того не виделась примерно столько же, – он лежал на коротком матрасике, без протезов, беспомощный такой, – полчеловека».

Недели за три до смерти он поскандалил с братом, с благодетелем. Явился пьяным, орал на весь двор немислимые гадости. Ну и Саркисян не вынес публичной обиды, прогнал его с глаз долой. Лилька в то время готовилась к свадьбе. Она как раз ехала в трамвае, возвращалась с женихом из магазина, где по талонам покупали ему черный жениховский костюм. На задней скамейке полупустого трамвая трясся пьяный Вазген. Увидев племянницу, поднялся, проковылял на костылях по вагону и, перед тем как выйти, бросил ей, гадливо улыбаясь: «Тварь!»

Спустя неделю Вазик повесился и висел три дня. Какой-то его собутыльник вошел в незапертую квартиру, увидел висящего Вазика, прибежал к Саркисяну:

– Поди, вынь брата из петли!

Тот пошел, вынул...

В этот день у Саркисяна поседела вся левая сторона груди. Жена Тамара ходила по соседям, плакала, шепотом рассказывала о несчастье; когда доходило до посевшей половины Саркисяновой груди, она прижимала ладонь к монументальному бюсту, и тогда казалось, что Тамара, в своем стремлении к наглядности, сейчас вывалит на сочувственное обозрение соседей свою левую грудь.

А года через три Лильку привели к гадалке. Тем летом у нее пропал муж, и Лилька бегала и искала его повсюду. Гадалка сказала, что муж вернется к ноябрю, он и вернулся, – не о нем, кобелине, речь. А гадалка была неопикуемая, и кроме всего, вертела блюдечко – вызывала духов. И Лилька вызвала Вазика – она все мучилась, ей казалось, что он, который с детства был ей как брат, не говорил того слова, в лязге трамвайном почудилось. Блюдечко вертелось, дергалось, подпрыгивало. Это явился Вазик. Разом вспотевшая, Лилька спросила высоким дрожащим голосом:

– Вазик, ты какое слово сказал мне в нашу последнюю встречу?

И блюдечко завертелось, выстраивая по буквам: «Т-в-а-р-ь!»

Так о ремонте.

Ремонт Саркисян неизменно делал своими руками, хотя работал на стройке прорабом и имел в этом деле неограниченные возможности. Каждый год придумывал что-нибудь новенькое.

– Этот год накат делаю, – устало сообщал он ближайшему соседу справа, Рашиду. Сидел на крыльце, запачканном известкой, – в старых, заляпанных этой же известкой, бриджах, гордо и удовлетворенно выкуривая папиросу. – В столовой пуцу желтый колокольчик по красному полю, наискось, в спальне – синий квадрат на зеленом круге. Красиво будет...

– Саркис, желтый колокольчик бывает разве? – лениво улыбаясь, спрашивал Рашид.

– Э-э, – махал на него рукой Саркисян. – Смотри, лентяй, пять лет на косое крыльцо выходишь. Ты какой хозяин, а?...

Подробности ремонта любила выспрашивать бабка Соня. Делала она это из какого-то самозабвенного злорадного самоистязания, понимая, что ее зять Рашид никогда не достигнет таких высот, – нет, всю жизнь он готов жить в обшарпанных стенах.

– Саркис, а пол? – жадно расспрашивала она. – Шпаклюешь?

– А как же нет! – обижался Саркисян, одновременно понимая, что нельзя обижаться на эту бедную, и так обиженную судьбой старуху. Он сплевывал, щелчком отправлял окурочек в кусты мальвы, стеною растущие у забора, и перечислял, загибая пальцы:

– Шпаклюю, чтоб иголка не прошла. Так? Теперь: крашу в ореховый цвет. Такой цвет достал! Маме такой желаю, Соня, поверь. Теперь: жду три дня, чтоб высохла. Так? Теперь: а-ас-тарожна, лаком крою, и еще раз крою, и еще раз крою, Соня! Три раза, поверь, не пожалею лака! Кому жалеть, Соня? В этом доме мои дети растут, и внуки жить будут. Меня отсюда вынесут, Соня, кому жалеть лака?! Три раза, говорю, крою. А как иначе?

– Как зеркало будет, – с горькой радостью подводила итог бабка Соня. – Ты семьянин, Саркис... А он, – легкий кивок в сторону собственных окон, – будет в хлеву жить. Ему так нравится...

Еще лет через пять бабка Соня одряхлеет настолько, что перестанет подниматься вовсе, и ненавидимый ею зять Рашид будет ворочать ее, мыть, менять под ней пеленки, ставить затертую любимую пластинку, по-прежнему не сразу попадая дырочкой на никелированный штырек.

«На позицию де-е-вушка провожала бойца»...

«Собака ты, собака, – вздыхал он, стирая загаженные старухой пеленки. – Собака ты, собака...»

* * *

Летом двор полон был знойной райской жизнью. Он гудел и вибрировал этой жизнью, как улей со сладостным медом. Со всего света слетались на кусты сентябринок крохотные цветные бабочки, цепкие и доверчивые. Босиком, с замершим сердцем, Верка кралась к кусту, где на звездчатом, голубом с желтой сердцевинкой, цветке колебалась от ветерка синевышневая, в черных крапинках, бабочка; плавно заносила руку, нежно и убийственно точно брала ее чуткими пальцами, и, ощутив на мгновение замшевую, трепетную дрожь крылышек, отпускала на свободу яркое крохотное чудо, чтобы в следующую минуту, проследив глазами нервный пунктирный полет крупной капустницы, красться к месту ее оцепенелой передышки и вновь с замершим сердцем заносить руку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.